

СТЕФАН
ЦВЕЙГ

Кристина Хофленер
Новеллы



✦ ЗАРУБЕЖНАЯ КЛАССИКА ✦

Зарубежная классика (АСТ)

Стефан Цвейг

Кристина Хофленер. Новеллы

«Издательство АСТ»

1925–1942

УДК 821.112.2-31(436)

ББК 84(4Авс)-44

Цвейг С.

Кристина Хофленер. Новеллы / С. Цвейг — «Издательство АСТ»,
1925–1942 — (Зарубежная классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-118022-5

«Кристина Хофленер» – второй роман Стефана Цвейга, написанный в 1930-е годы, обнаруженный в архивах писателя и опубликованный лишь спустя 40 лет после его смерти. Совсем еще юная Кристина Хофленер влачит полунищенское существование в маленькой австрийской деревушке. Будущее не сулит ей ничего, кроме унылого труда на местной почте, забот о больной матери и скудной зарплаты. Однако внезапно все меняется. Тетя – в прошлом содержанка, ухитрившаяся выйти замуж за американского миллионера, – приглашает племянницу присоединиться к ней на шикарном швейцарском курорте. К ногам деревенской девушки, осыпанной милостями и подарками щедрой родственницы, падает, кажется, весь мир. Но надолго ли улыбнулось ей счастье?... Сюжет романа положен в основу фильма «Хмель преображения», снятого мэтром французского кино Эдуаром Молиаро. А для фильма «Отель «Гранд Будапешт», по словам режиссера, из текста романа взято описание роскошного отеля в Швейцарии. В сборник включена «Шахматная новелла», а также новеллы «В сумерках» и «Лепорелла».

УДК 821.112.2-31(436)

ББК 84(4Авс)-44

ISBN 978-5-17-118022-5

© Цвейг С., 1925–1942

© Издательство АСТ, 1925–1942

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Кристина Хофленер | 7 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 50 |

Стефан Цвейг

Кристина Хофленер. Новеллы (сборник)

© Перевод. Н. Бунин, наследники, 2022

© Перевод. М. Рудницкий, 2022

© Перевод. В. Топер, наследники, 2022

© Перевод. С. Фридлянд, наследники, 2022

© ООО «Издательство АСТ», 2022

Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.

* * *

Стефан Цвейг (1881–1942) – литературный классик первой половины XX века, непревзойденный мастер психологического реализма, равно блиставший в романах, новеллах, рассказах и романизированных биографиях. Произведений Цвейга почитали за честь экранизировать такие мастера кинематографа, как Патрис Леконт, Этьен Перье, Эндрю Биркин (его фильм «Жгучая тайна» был удостоен премии на Венецианском кинофестивале 1988 года) и Уэс Андерсон, недавно поразивший критиков и зрителей своей вольной киноинтерпретацией рассказов Цвейга «Отель «Гранд Будапешт». Влияние, оказанное Цвейгом на европейскую литературу, трудно переоценить, а его произведения и сейчас не утратили ни своей страстности, ни своего обаяния, ни своей способности целиком и полностью захватить читателя.

Кристина Хофленер

Кто заглядывал в Австрии хотя бы в одну сельскую почтовую контору, может считать, что видел их все, настолько мало они отличаются друг от друга. Обставленные, вернее, унифицированные одними и теми же предметами одного и того же инвентаря времен Франца-Иосифа, они повсюду несут отпечаток одинаково угрюмой казенщины и вплоть до самых захолустных деревушек Тироля, где уже веет дыханием глетчеров, упорно сохраняют характерный для староавстрийских канцелярий запах дешевого табака и бумажной пыли. Они и распланированы везде одинаково: деревянная перегородка со стеклянными окошками разделяет помещение в строго предписанной пропорции на как бы посюсторонний и потусторонний мир, на общедоступную и служебную зоны. Отсутствие стульев для публики и прочих удобств наглядно свидетельствует о том, что государство мало заботит продолжительность пребывания его граждан в общедоступной зоне. Единственным предметом мебелировки там обычно служит робко приоткрытая у стены шаткая конторка, обтянутая поверх клеенкой; клеенка эта вся в трещинах и сплошь закапана чернильными слезами, хотя никто не припомнит, чтобы в чернильнице, укрепленной в крышке стола, когда-либо находилось что-нибудь, кроме комковатой загустевшей кашицы; а если рядом, в желобке, случайно найдется ручка, то перо наверняка будет с расщепом и непригодным для письма. Бережливое казначейство экономит не только на удобствах, но и на красоте: с тех пор как Республика убрала портреты Франца-Иосифа, единственным украшением присутственных мест можно считать разве что яркие плакаты, которые с грязных некрашеных стен приглашают посетить давно закрывшиеся выставки, купить лотерейные билеты, а в некоторых забывчивых конторах – даже призывают подписаться на военный заем. Вот такими дешевыми декорациями да еще просьбой не курить, на которую никто не обращает внимания, и ограничивается щедрость государства в почтовых конторах.

Зато отделение по ту сторону служебного барьера выглядит куда более респектабельно. Здесь государство с подобающим ему размахом демонстрирует один за другим символы своего могущества. В дальнем углу стоит железный несгораемый шкаф, и в нем, судя по решеткам на окнах, иногда действительно хранятся весьма значительные суммы. На аппаратном столе, словно драгоценность, сверкает начищенной латуной телеграфный аппарат, рядом с ним на никелированном лафете дремлет более скромный телефон. Этим двум приборам умышленно выделена как бы почетная резиденция, ибо они, подключенные к медным проводам, связывают отдаленную деревушку с просторами государства. Остальные аксессуары почтового дела вынуждены потесниться: весы и сумки для писем, справочники, папки, тетради, реестровая книга, круглые звякающие банки для почтовых сборов, весы и гирьки, черные, синие, красные и чернильные карандаши, зажимы и скрепки, шпагат, сургуч, губка и пресс-папье, бумажный нож, клей и ножницы – весь многообразный набор инструментов – сгрудились в рискованном беспорядке на краю стола, а ящики до отказа набиты горами всевозможных бумаг и бланков. На первый взгляд этот ворох вещей расходуется крайне расточительно, однако такое впечатление обманчиво – втайне государство строго учитывает всю свою дешевую утварь поштучно. От исписанного карандаша до порванной марки, от разлохмаченной промокашки до обмылка на рукомыльнике, от электролампочки, освещающей контору, до ключа, запирающего ее, – за каждый потребленный или изношенный предмет казенного имущества государство неумолимо требует от своих служащих отчета. Возле чугунной печки висит отпечатанный на машинке, скрепленный официальной печатью и неразборчивой подписью инвентарный список, в котором с арифметической скрупулезностью перечислены наимельчайшие и наиничтожнейшие предметы технического оборудования, предусмотренные для соответствующего почтамта. Ни одна вещь, не упомянутая в описи, не смеет обитать в служебном помещении, и наоборот:

каждый предмет, указанный в оной, должен наличествовать и быть в любое время доступным. Так требуют администрация, порядок и законность.

Строго говоря, в этот машинописный реестр следовало бы включить и некое лицо, которое ежедневно в восемь утра поднимает стеклянную створку и приводит в движение весь неодушевленный мир: вскрывает мешки с почтой, штемпелюет письма, выплачивает денежные переводы, выписывает квитанции, взвешивает посылки, делает красным, синим и чернильным карандашом разные пометки и непонятные, загадочные знаки на бумагах, снимает телефонную трубку и крутит катушку аппарата Морзе. Но, вероятно по тактическим соображениям, это некое лицо, которое посетители называют обычно почтовым служащим, или почтмейстером, в инвентарной описи не значится. Его фамилия зарегистрирована в другом отделе почт-дирекции, однако, так же, как все прочее, учтена и подлежит ревизии и контролю.

Внутри освященного гербовым орлом служебного помещения никогда не происходит видимых перемен. Вечный закон начала и конца разбивается о казенный барьер; вокруг здания почты на деревьях зеленеет и осыпается листва, растут дети и умирают старики, рушатся старые дома и поднимаются новые, и одно лишь казенное учреждение наглядно демонстрирует свою ничему не подвластную силу вечной неизменности. Ибо в этой сфере взамен каждой вещи, которая изнашивается или исчезает, портится и ломается, начальство затребует и доставит другой экземпляр точно такого же типа и тем самым явит образец превосходства над миром тленным мира казенного. Содержимое преходяще, форма неизменна. На стене висит календарь. Каждый день отрывается один листок, за неделю – семь, за месяц – тридцать. Тридцать первого декабря, когда календарь кончается, подается заявка на новый – того же формата, такой же печати: год стал новым, календарь остался прежним. На столе лежит бухгалтерская книга со столбиками цифр. Как только столбик слева суммирован, итог переносится направо и счет продолжается, страница за страницей. Заполнена последняя страница, и книга окончена, начинается новая, того же вида, того же объема, ничем не отличающаяся от прежней. Все, что кончается, появляется на следующий день вновь, однообразно, как сама служба; на той же крышке стола неизменно лежат те же предметы, те же стандартные бланки и карандаши, скрепки и формуляры, каждый раз новые и каждый раз все такие же. Ничто не меняется в этом казенном пространстве, ничто не добавляется, без увядания и расцвета здесь властвует одна и та же жизнь, вернее, не прекращается одна и та же смерть. Единственно, что неодинаково в многообразии предметов, – это ритм их износа и обновления, но не их участь. Карандаш существует неделю и заменяется новым, таким же. Почтовая книга живет месяц, электролампочка – три месяца, календарь – год. Плетеному стулу положено служить три года, прежде чем его заменят, а тому, кто отсиживает на этом стуле всю жизнь, – тридцать или тридцать пять лет; потом на стул сажают новое лицо, однако стул ничем не отличается от своего предшественника.

В почтовой конторе Кляйн-Райфлинга, обыкновенного села вблизи Кремса, что примерно в двух часах езды по железной дороге от Вены, таким заменяемым предметом оборудования, как «служащий», является в 1926 году лицо женского пола, и, поскольку контора числится по категории низших, этому лицу пожалован титул «ассистента почты». Через стекло в перегородке особенно и не разглядишь ее, ну, видишь неприметный, но симпатичный девичий профиль, тонковатые губы, бледноватые щеки, сероватые тени под глазами; вечером, когда она включает лампу, бросающую резкий свет, внимательный взгляд уже заметит на лбу и на висках у нее легкие морщинки. И все же вместе с мальвами у окна и охапкой бузины, которую она поставила сегодня в жестяной кувшин, эта девушка – самый свежий объект среди почтамтских принадлежностей Кляйн-Райфлинга, и, как видно, продержится она на службе еще по меньшей мере лет двадцать пять. Еще тысячи и тысячи раз эта женская рука с бледными пальцами поднимет и опустит дребезжащую стеклянную створку. Еще сотни тысяч, а может, и миллионы писем она все тем же угловатым движением бросит на резиновую подушку и сотни тысяч или миллионы раз пристукнет почерненным медным штемпелем, гася марки. Вероятно, это дви-

жение ее натренированной руки станет еще более четким, более механическим, более бессознательным. Сотни тысяч писем будут, конечно, разными, но всегда – письмами. И марки разными, но всегда – марками. И дни разными, но каждый день от восьми часов до двенадцати, от двух до шести, и все годы расцвета и увядания – одна и та же служба, одна и та же, одна и та же.

Может быть, в этот тихий летний полдень девушка с пепельными волосами размышляет за стеклянным окошком о том, что ее ждет впереди, а может, просто замечталась. Во всяком случае, ее руки соскользнули с рабочего стола на колени и, сплетя пальцы, отдыхают, узкие, усталые, бледные. В такой ярко-голубой, такой знойный июльский полдень на почте Кляйн-Райфлинга дел не предвидится, утренняя работа окончена, почтальон Хинтерфельнер – вечно жующий табак горбун – уже давно разнес письма, никаких пакетов и образцов товаров с фабрики до вечера не поступит, а писать письма у односельчан теперь нет ни охоты, ни времени. Крестьяне, прикрывшись широкополыми соломенными шляпами, рыхлят виноградники, босоногая детвора, отдыхая от школы, резвится в ручье, мощенная булыжником площадка перед дверью пустует, накаленная полуденным жаром. Хорошо бы сейчас побыть дома, и хорошо, что можно спокойно помечтать. В тени опущенных жалюзи спят на полках и в ящичках карточки и бланки, в золотистом полумраке лениво и вяло поблескивает металлом аппаратура. Тишина, словно густая золотая пыль, легла на все предметы, и лишь между рамами лилипутский оркестр комариных скрипок и шмелиной виолончели играет летний концерт. Единственное, что без усталости движется в прохладном помещении, – это маятник деревянных часов, висящих в простенке между окон. Каждую секунду они крохотным глоточком глотают каплю времени, но этот слабый, монотонный шум скорее усыпляет, нежели пробуждает. Так и сидит почтовая ассистентка в своем маленьком уснувшем мирке, охваченная приятной истомой. Собственно, она собиралась вышивать, даже приготовила иголку и ножницы, но вышивка свалилась с колен на пол, а поднять ее нет ни сил, ни желания. Откинувшись на спинку стула, закрыв глаза и почти не дыша, она отдается блаженному чувству оправданного безделья, столь редкому в ее жизни.

И вдруг: та-та! Она вздрагивает. И еще раз металлический стук, тверже, нетерпеливее: та-та-та. Упрямо стучит аппарат Морзе, дребезжат часы: телеграмма – редкий гость в Кляйн-Райфлинге – хочет, чтобы ее приняли с уважением. Девушка разом стряхивает с себя сонливость, устремляется к аппаратному столу и хватается ленту. Но, едва разобрав первые слова на бегущей ленте, краснеет до корней волос. Ибо впервые с тех пор, как здесь служит, она видит на ленте свое собственное имя. Телеграмму уже отстучали до конца, она перечитывает ее второй раз, третий, ничего не понимая. Почему? Что? Кто это вздумал слать ей телеграмму из Понтрезины?

«Кристине Хофленер, Кляйн-Райфлинг, Австрия. С радостью ждем тебя, приезжай любой день, только заранее сообщи телеграммой прибытие. Обнимаем. Клер – Антони».

Она задумалась: кто такая или кто такой Антони? Может, кто-то из коллег решил подшутить над ней? Но затем она припоминает: мать недавно говорила ей, что этим летом приезжает в Европу тетя, ну правильно, ее же зовут Клара. А Антони, наверное, имя ее мужа; правда, мать всегда называла его Антоном. Да, теперь точно вспомнила: ведь несколько дней назад она сама принесла матери письмо из Шербура, а мать почему-то скрытничала и ничего о содержании письма не сказала. Но ведь телеграмма-то адресована ей, Кристине. Неужели ехать в Понтрезину к тете придется ей самой? Об этом же никогда не было речи. Она снова разглядывает еще не наклеенную бумажную ленту, первую телеграмму, адресованную лично ей, снова перечитывает в растерянности, с любопытством и недоверием, сбита с толку странным текстом. Нет, ждать до обеденного перерыва она не в силах. Надо немедленно узнать у матери, что все это значит. Кристина хватается ключ, запирает контору и бежит домой. В спешке она забыла

выключить телеграфный аппарат. И вот латунный молоточек стучит и стучит бессловесно в опустевшей комнате по чистой бумажной ленте, возмущенный таким пренебрежением к себе.

Снова и снова убеждаешься: скорость электрического тока потому и невообразима, что она быстрее наших мыслей. Ведь двадцать слов, которые белой бесшумной молнией пронзили душный чад австрийской конторы, были написаны всего лишь несколько минут назад за три земли отсюда, в прохладной синеве глетчеров под лазурно-чистым небом Энгадина, и не успели еще высохнуть чернила на бланке отправителя, как смысл и призыв этих слов ударил в смятенное сердце.

А случилось там следующее: маклер Энтони ван Боолен, голландец (много лет назад он осел на Юге Соединенных Штатов, занявшись торговлей хлопком), так вот, Энтони ван Боолен, добродушный, флегматичный и, в сущности, весьма незначительный сам по себе мужчина, только что кончил завтракать на террасе – сплошь стекло и свет – отеля «Палас». Теперь можно увенчать breakfast¹ никотиновой короной – черно-бурой шишковатой «гаваной», из тех, что доставляют с места изготовления специально в воздухонепроницаемых жестяных футлярах. Дабы насладиться первой, вкуснейшей затяжкой с полным удовольствием, как подобает опытному курильщику, этот несколько тучноватый господин водрузил ноги на соседнее соломенное кресло, развернул огромным квадратом бумажный парус «Нью-Йорк геральд» и отчалил в бескрайнее печатное море биржевых курсов. Сидящая напротив него супруга Клер, звавшаяся раньше просто Клара, со скучающим видом отщипывала дольки грейпфрута. По многолетнему опыту она знала, что всякая попытка пробить разговором ежеутреннюю газетную стену совершенно безнадежна. Поэтому оказалось весьма кстати, что к ней неожиданно устремился гостиничный бой – забавное существо, коричневая шапочка, румяные щеки – и протянул свежую почту: на подносе лежало одно-единственное письмо. Содержание его, по-видимому, настолько увлекло Клер, что она, забыв о долгом опыте, попыталась оторвать мужа от чтения.

– Энтони, послушай, – сказала она. Газета не шевельнулась. – Энтони, я не хочу тебе мешать, ты только секунду послушай, дело срочное, письмо от Мэри... – Она невольно произнесла имя сестры по-английски. – Мэри пишет, что не сможет приехать; хотя ей очень хотелось бы, но у нее плохо с сердцем, ужасно плохо, врач говорит, что на высоте двух тысяч метров ей не выдержать ни в коем случае. Но, если мы не против, вместо нее на две недели придет Кристина, ну ты знаешь, младшая дочь, блондинка. Ты видел ее на фотографии, еще до войны. Она служит в пост-офисе и еще ни разу не брала полного отпуска, и если подаст заявление, то ей предоставят сразу же, и она, конечно, будет счастлива после стольких лет «засвидетельствовать свое почтение тебе, дорогая Клара, и уважаемому Антони» – и так далее.

Газета не пошевелилась. Клер пошла на риск:

– Ну как ты думаешь, пригласить ее?... Бедняжке не повредит глоточек-другой свежего воздуха, да и приличия требуют, в конце концов. Уж раз я оказалась в этих краях, надо же, в самом деле, познакомиться с дочкой моей сестры, и так всякая связь с родней порвалась. Ты не возражаешь, если я приглашу ее?

Газета чуть зашуршала. Сначала из-за белого края страницы выплыло кольцо сигарного дыма, круглое, с синевой, затем послышался тягучий и равнодушный голос:

– Not at all. Why should I?²

Этим лаконичным ответом завершился разговор, предрешивший поворот в чьей-то жизни. Спустя десятилетия была возобновлена родственная связь, ибо, несмотря на почти аристократическое звучание фамилии, частица «ван» была обычной голландской приставкой и,

¹ Завтрак (англ.).

² Ничуть. С чего бы мне возражать? (англ.)

несмотря на то что супруги беседовали между собой по-английски, Клер ван Боолен была не кто иная, как сестра Мари Хофленер, и, таким образом, бесспорно приходилась родной теткой почтовой служащей в Кляйн-Райфлинге. Она покинула Австрию более четверти века назад из-за одной темной истории, о которой – наша память всегда очень услужлива – помнила лишь смутно и о которой ее сестра тоже никогда не рассказывала дочерям. В те годы, однако, эта история наделала немало шума и, возможно, привела бы к еще более серьезным последствиям, если бы умные и ловкие люди своевременно не устранили желанный повод для всеобщего любопытства. В те годы упомянутая госпожа Клер ван Боолен была всего-навсего фройляйн Кларой и служила в фешенебельном салоне мод на Кольмаркт простой манекенщицей. Быстроглазая, гибкая девушка, какой она тогда была, произвела потрясающее впечатление на пожилого лесопромышленника, который сопровождал свою жену на примерку. Со всем отчаянием предзакатной вспышки страсти этот богатый и еще довольно хорошо сохранившийся коммерции советник безумно влюбился в нежную и веселую блондинку и одаривал ее с необычной даже для его круга щедростью. Вскоре девятнадцатилетняя манекенщица, к великому негодованию своих благонравных родственников, разъезжала в фиакре, облаченная в красивейшие наряды и меха, какие прежде ей дозволялось лишь демонстрировать перед зеркалом придиричивым и взыскательным клиенткам. Чем элегантнее она становилась, тем сильнее нравилась стареющему покровителю, а чем больше она нравилась коммерции советнику, вконец потерявшему голову от неожиданной любовной удачи, тем роскошнее он ее наряжал. Спустя несколько недель она до того размягчила своего обожателя, что адвокат, соблюдая полнейшую секретность, заготовил по его поручению бракоразводные документы и обожаемая была уже без пяти минут одной из самых богатых женщин Вены. Но тут, оповещенная анонимными письмами, в дело энергично вмешалась супруга и совершила глупость. Горькая и справедливая обида на то, что после тридцати лет безмятежного брака от нее вдруг решили избавиться, словно от одряхлевшей лошади, довела ее до бешенства; она купила револьвер и нагрянула к неравной парочке во время их любовного свидания на заново обставленной тайной квартире. Без всяких предисловий разгневанная супруга дважды выстрелила в разлучницу; одна пуля прошла мимо, другая задела плечо. Ранение оказалось довольно пустяковым, зато весьма неприятными были сопутствующие явления: набежавшие соседи, крики о помощи из разбитых окон, взломанные двери, обмороки и сцены, врачи, полиция, протокол о происшествии, а впереди, по-видимому, неминуемый судебный процесс и скандал, которого в равной мере боялись все замешанные лица. К счастью, для богатых людей не только в Вене, но и повсюду существуют ловкие адвокаты, поднаторевшие в замазывании скандальных дел, и один такой опытейший мастер, советник юстиции Карплус, сразу же постарался найти, так сказать, противоядие. Он вежливо пригласил Клару к себе в контору. Она явилась очень элегантная, кокетливо подвывая руку, и с любопытством прочитала текст договора, согласно которому она обязуется еще до вызова свидетелей в суд уехать в Америку, где ей, не считая единовременного возмещения за ущерб, в течение пяти лет будет выплачиваться через адвоката по первым числам каждого месяца определенная сумма, при условии, что она будет вести себя тихо. Кларе и без того не хотелось оставаться манекенщицей в Вене после этого скандала, к тому же родители выгнали ее из дома; с невозмутимым видом она перечитала четыре страницы договора, быстро подсчитала всю сумму, найдя ее неожиданно высокой, и на авось потребовала еще тысячу гульденов. Получив согласие, она с легкой усмешкой подписала договор, отправилась за океан и не пожалела о своем решении. Еще в пути она получила немало матримониальных предложений, но окончательный выбор сделала в Нью-Йорке, познакомившись в пансионе со своим ван Бооленом; в ту пору всего лишь мелкий торговый агент одной голландской фирмы, он решил с небольшим капиталом жены, о романтическом происхождении которого никогда и не подозревал, открыть собственное дело на Юге. Спустя три года у них появилось двое детей, через пять лет – дом, а через десять – значительное состояние, которое, как и на любом другом континенте, кроме

Европы, где война свирепо уничтожала имущество, за военные годы еще умножилось. Теперь, когда сыновья подросли и энергично взялись за отцовское дело, пожилые родители могли спокойно позволить себе комфортабельную поездку в Европу. И странно, в тот момент, когда из тумана надвинулся плоский берег Нормандии, у Клер внезапно пробудилось забытое ощущение родины. Уже давно ставшая в душе американкой, она от одного только сознания, что эта полоска суши – Европа, почувствовала внезапный прилив тоски по своей юности; ночью ей снились детские кровати с решеткой, в которых они с сестрой спали, вспомнились тысячи подробностей, и она вдруг устыдилась, что за все годы не написала ни строчки обнищавшей, овдовевшей сестре. Мысль о сестре не давала Кларе покоя, и она тотчас, прямо на пристани, отправила письмо с просьбой приехать, вложив в конверт стодолларовую ассигнацию.

Ну а в данную минуту, когда выяснилось, что вместо матери нужно пригласить дочь, госпоже ван Боолен стоило лишь пошевелить пальцем, как к ней этаким снарядином в коричневой livree и круглой шапочке подлетел бой, уловив на ходу, что требуется, принес телеграфный бланк и умчался с заполненным листком на почтамт.

Спустя несколько минут точки и тире со стучащего аппарата Морзе перескочили на крышу в вибрирующие медные пряди, и быстрее дребезжащих поездов, несказанно быстрее вздымающих пыль автомобилей весть молнией промчалась по тысячекилометровому проводу. Миг – и перепрыгнула через границу, миг – и через тысячеглавый Форарльберг, карликовый Лихтенштейн, изрезанный долинами Тироля, и вот магически превращенное в искру слово ринулось с ледниковых высот в Дунайскую низину, в Линц, в коммутатор. Передохнув здесь несколько секунд, весть скорее, чем успеваешь произнести само слово «скоро», спорхнула с провода на крыше почты Кляйн-Райфлинга в телеграфный приемник, и тот, вздрогнув, направил ее прямо в сердце, изумленное, полное любопытства и растерянности.

Поворот за угол, вверх по темной скрипучей деревянной лестнице – и Кристина входит в мансарду убогого крестьянского дома; здесь, в комнате с маленькими оконцами, она живет с матерью. Широкий навес кровли над фронтоном – защита от снега зимой – ревниво заслоняет солнце в дневные часы; лишь под вечер тонкий, уже обессиленный лучик ненадолго проникает к герани на подоконнике. Поэтому в сумрачной мансарде всегда затхло и сыро, пахнет подгнившими стропилами и непросохшими простынями; стародавние запахи въелись в стены, как древесный грибок, – вероятно, в прежние времена эта мансарда была просто чердаком, куда складывали разный хлам. Но в послевоенные годы с их суровой жилищной нуждой запросы у людей становились скромными, и они благодарили судьбу, если вообще представлялась возможность поставить в четырех стенах две кровати, стол и старый сундук. Даже мягкое кожаное кресло, доставшееся по наследству, занимало здесь слишком много места, и его за бесценок продали старьевщику, о чем теперь очень жалеют: всякий раз, когда у старой фрау Хофленер распухают от водянки ноги, ей некуда сесть и приходится лежать в кровати – все время, все время в кровати.

Отекшие, похожие на колоды ноги, угрожающая венозная синева под мягкими бинтами – всем этим уставшая, рано состарившаяся женщина обязана двухлетней работе кастеляншей в военном лазарете, который размещался в нижнем этаже здания без подвала, отчего там было очень сыро. С тех пор ходьба для тучной женщины стала мучением, она не ходит, а еле передвигается с одышкой и при малейшем напряжении или волнении хватается за сердце. Она знает, что долго не проживет. Какое счастье еще, что в этой неразберихе после свержения монархии деверю, имевшему чин гофрата, удалось выхлопотать Кристине место на почте. Пускай и в захолустье, и платят гроши, а все-таки хоть как-то они обеспечены, крыша над головой есть, в комнатенке дышать можно, правда, тесновата она, ну и что, все равно к гробу привыкать надо, там еще теснее.

Постоянно пахнет уксусом и сыростью, хворью и больничной койкой; дверь в крохотную кухню закрывается плохо, и оттуда душной пеленой ползет чад и запах подогретой пищи. Едва Кристина вошла в комнату, как тут же непроизвольным движением распахнула закрытое окно. От этого звука мать со стоном проснулась. Иначе она не может, всегда, прежде чем пошевелиться, она издает стон, подобный скрипу расколовшегося шкафа, когда к нему только приблизишься, еще не дотрагиваясь; так дает о себе знать вещий страх пораженного ревматизмом тела, предчувствующего боль, которую вызывает малейшее движение. Затем старая женщина спросила, поднявшись с кровати:

– Что случилось?

Ее дремлющее сознание уже отметило, что еще не время обеда, еще не пора садиться за стол. Значит, случилось что-то особенное. Дочь протягивает ей телеграмму.

Медленно – ведь каждое движение причиняет боль – морщинистая рука шарит в поисках очков на прикроватной тумбочке; проходит время, пока стекла в металлической оправе не найдены среди аптечных пузырьков и баночек и не водружены на нос. И едва старая женщина успела разобрать написанное, как ее тучное тело вздрогнуло, словно от удара электрического тока, заколыхалось; жадно ловя воздух, она делает шаг, другой и всей своей огромной массой приваливается к Кристине. Горячо обняв испуганную дочь, она дрожит, смеется, пытается что-то сказать, задыхаясь, но не может и наконец, обессилив и прижав руки к сердцу, опускается на стул. Минуту она молчит, глубоко дыша беззубым ртом. А затем с дрожащих губ слетают невнятные обрывки фраз, она заикается, путает и глотает слова, на ее лице блуждает торжествующая улыбка, но от волнения она запинаясь еще больше, жестикулирует еще горячее, и по дряблым щекам уже текут слезы. Бессвязный поток слов низвергается на Кристину, которая пришла в полное замешательство. Слава богу, что все так благополучно сложилось, вот теперь ей, никому не нужной, больной старухе, можно спокойно помирать. Вот ради этого она и ездила в прошлом месяце, в июне, к святым местам и молилась только об одном: чтобы Клара, сестрица, приехала раньше, чем она, Мари, помрет, чтобы позаботилась о ее доченьке. Ну, теперь она довольна. Вот, вот тут написано – пускай Кристль приезжает к ней в гостиницу; смотри, и на телеграмму потратилась, а две недели назад даже сотню долларов прислала, да, золотое у нее сердце, у Клары, и всегда она была такой доброй и милой. А этой сотни хватит, наверное, не только на дорогу, но и чтобы разодеться, как княгиня, прежде чем явиться к тете на шикарный курорт. Да, там у доченьки глаза разбегутся, уж там она увидит, как привольно живет людям знатным, с деньгами. Впервые она сама хоть поживет как человек, и, правда, она это честно заслужила. Ну что она до сих пор видела в жизни – ничего, только работа, служба и всякие хлопоты, а вдобавок еще забота о никчемной, больной, унылой старухе, которой давно пора в могилу, и поскорее, чего уж тут. Из-за нее да из-за войны проклятой у Кристль вся молодость испорчена; как подумаешь, что лучшие годы пропали, сердце разрывается. Ну да теперь она найдет свое счастье. Только пусть ведет себя поучтивее с дядей и тетей, всегда учтиво и скромно, и пусть не робеет перед тетей Кларой, у нее золотое сердце, добрая душа, она непременно поможет родной племяннице выбраться из этой глуши, из вонючей деревни, а ей, старой, все равно помирать. И если тетя под конец предложит ехать с ними, пусть непременно уезжает, ничего тут хорошего не осталось, и страна гибнет, и люди дурные, а о ней, старухе, беспокоиться нечего. Место в богадельне всегда найдется, да и сколько она еще протянет?.. Ах, теперь она может спокойно умереть, теперь все хорошо.

Закутанная в шали поверх сорочек и нижних юбок, старая, расплывшаяся женщина, пошатываясь, топает слоновьими ногами взад-вперед по комнате так, что трещат половицы. Она непрерывно жестикулирует и всхлипывает, то и дело утирая глаза большим красным носовым платком; затем, выдохшись от столь бурных проявлений чувств, постанывая, садится, сморкается, собираясь с силами для очередного монолога. И вновь ей приходит на ум что-то еще, и она говорит, и говорит, и стонет, и всхлипывает, и радуется неожиданной удаче. И вдруг, в

минуту изнеможения, замечает, что Кристина, которой предназначены все эти восторги, стоит бледная, смущенная, взгляд ее выражает удивление и даже замешательство и она совершенно не знает, что сказать. Старой женщине досадно. Собравшись с силами, она еще раз поднимается со стула, подходит к дочери, хватая ее за плечи, крепко целует, прижимает к себе, тормошит, словно хочет разбудить ее, вывести из оцепенения.

– Ну чего ты молчишь? Кого же это касается, как не тебя, что с тобой, глупышка? Стоишь будто истукан и ничего не говоришь, ни словечка, а ведь такое счастье выпало! Радуйся же! Ну почему ты не радуешься?

Служебный устав строго-настрого запрещает почтовому персоналу надолго покидать контору в рабочее время, и даже самая веская личная причина бессильна пред главным законом казенного мира: сначала служба, потом человек, сначала буква, потом смысл. Так что после небольшого перерыва служащая почты Кляйн-Райфлинга вновь сидит за окошком, исполняя свои обязанности. Никто ее за это время не спрашивал. Как и четверть часа назад, бумаги разложены на покинутом столе, молчит, поблескивая латунию в полумраке, выключенный телеграфный аппарат, который недавно так ее взбудоражил. Слава богу, никто не заходил, никаких упущений нет. С чистой совестью можно теперь спокойно поразмышлять о внезапной новости, слетевшей сюда с проводов; ведь от замешательства Кристина еще не успела понять, приятная это новость или нет. Постепенно ее мысли приходят в порядок. Итак, она поедет, впервые уедет от матери, на две недели, а может, и больше, к чужим людям, нет, к тете Кларе, маминой сестре, в шикарный отель. Надо взять отпуск, заслуженный отпуск, после многих лет хоть раз по-настоящему отдохнуть, поглядеть на мир, узнать что-нибудь новое, иную жизнь. Она думает, думает. В сущности, весть хорошая, и мать права, что радуется, вполне права. Честно говоря, это лучшая новость, которая пришла к ним за долгие-долгие годы. Впервые бросить опостылевшую службу, побыть на свободе, увидеть новые лица, другой мир – разве это не подарок, буквально свалившийся с неба? Но тут в ее ушах снова раздается удивленный, испуганный, почти гневный голос матери: «Ну почему ты не радуешься?»

Мать права: в самом деле, почему я не радуюсь? Почему во мне ничто не шевельнулось, не дрогнуло, почему это не захватило меня, не потрясло? Она прислушивается к себе, но тщетно: внутренний голос не дает желанного ответа; свалившийся с неба сюрприз по-прежнему вызывает у нее лишь чувство смущения и непонятного испуга. Странно, думает она, почему я не рада? Сотни раз, когда я вынимала из почтового мешка видовые открытки и, сортируя их, рассматривала – серые норвежские фиорды, бульвары Парижа, залив Сорренто, каменные пирамиды Нью-Йорка, – разве не вздыхала я при этом?.. Когда? Когда же и я увижу что-нибудь? О чем я мечтала в долгие, пустые утренние часы, как не о том, чтобы когда-нибудь вырваться из этой клетки, забыть бессмысленную поденщину, это изнурительное состязание со временем. Хоть когда-нибудь отдохнуть, использовать для себя время, все целиком, а не по клочкам, по крохам, когда и ухватиться не за что. Хоть когда-нибудь не слышать по утрам звон будильника, этого злодея, погонщика, который принуждает вставать, одеваться, топить печь, идти за молоком, за хлебом, разогревать еду, затем тащиться в контору и как заведенной штемпелевать конверты, писать, звонить по телефону, а потом опять домой – к гладильной доске, к кухонной плите, варить, стирать, штопать, ухаживать за больной и, наконец, смертельно усталой проваливаться в сон. Тысячу раз я мечтала об этом, сто тысяч раз, здесь, за этим же столом, в этой затхлой клетке; и вот теперь, когда мне выпала наконец такая удача – поездка, свобода, а я – права мать, права, – а я не радуюсь. Почему? Потому что не готова?

Бессильно опустив плечи и уставившись невидящим взглядом в голую казенную стену, она ждет и ждет, не шевельнется ли наконец в ней запоздалая радость. Невольно затаив дыхание, она, словно беременная, вслушивается в себя.

Но никакого отклика не слышно, безмолвно и пусто, как в лесу без птичьих голосов; и она, которой от роду всего двадцать восемь лет, с усилием пытается вспомнить, что значит вообще – радоваться, и с ужасом обнаруживает: она не помнит, что это такое, – вроде как иностранный язык, который учил в детстве, потом забыл и помнишь только, что когда-то знал его. Когда же я в последний раз радовалась? – задумывается она, опустив голову; лоб ее пересекают две маленькие морщинки. И постепенно в памяти, словно в потускневшем зеркале, выплывает тонконогая белокурая девочка в короткой ситцевой юбке, беззаботно размахивающая школьным портфелем... А вот парк в венском предместье: вокруг нее вихрем носится десяток девчонок – играют в пятнашки. Каждый бросок мяча сопровождается пронзительным визгом и взрывами хохота, и ей вспоминается, как легко, как свободно тогда смеялось, будто смешинки таились наготове в горле, совсем близко, они все время щекотали где-то под кожей, бродили и толкались в крови; достаточно было лишь встряхнуть их, и смех неудержимо выплескивался из горла, слишком неудержимо. Порой в школе приходилось хвататься за парту и прикусывать губу, чтобы на уроке французского языка не прыснуть, услышав какое-нибудь потешное слово или глупую шутку. Любого пустяка – запинки учителя, гримасы перед зеркалом, кошки, забавно изогнувшей хвост, офицера, взглянувшего на тебя на улице, – малейшей несуразицы было довольно, чтобы переполнявший тебя смех взорвался от первой же искры. Она всегда была с тобой, эта шаловливая беззаботность, и даже во сне улыбка запечатлевала свою радостную арабеску на детских губах.

И вдруг все почернело и погасло, как притушенный фитиль. 1914 год, 1 августа. Днем она была в купальне; как светлый проблеск вспоминается ей, когда она разделась в кабине, собственное нагое тело – стройное, гибкое шестнадцатилетнее тело, с наметившимися округлостями, белое, разгоряченное, пышущее здоровьем. С каким наслаждением она охладилась в воде, плескалась, плавала и носилась с подружками наперегонки по скрипучим доскам настила – до сих пор в ее ушах стоит смех и визг девчонок. Потом она заторопилась домой, скорее, скорее, ну конечно, она опять опаздывает, а ведь обещала матери, что придет вовремя и поможет уложить вещи – через два дня они переезжают в Кампаль, на дачу. Прыгая через две ступеньки, она взбежала по лестнице и открыла дверь. Но странно: едва она, запыхавшись, вошла в комнату, как отец с матерью оборвали на полуслове разговор и сделали вид, будто не замечают дочери. Отец, чей непривычно громкий голос она только что слышала, с подозрительным усердием утыкается в газету, а мать – видно, что плакала, – нервно комкает в руке платочек и поспешно отходит к окну. Что случилось? Поссорились? Нет, не похоже: отец вдруг поворачивается к матери и – Кристина никогда не видела его таким ласковым – нежно кладет руку на вздрагивающее плечо. Но мать не оглядывается, от этого молчаливого прикосновения ее плечи дрожат еще сильнее. Что случилось? Родители словно забыли о ней, ни один даже не посмотрел на дочь. И сейчас, спустя двенадцать лет, Кристина помнит, как она тогда перепугалась. Может, они на нее сердятся? Может, она все-таки в чем-то провинилась? Испуганная – в каждом подростке всегда сидит чувство страха и вины, – она уходит на кухню; там кухарка Божена объясняет ей, что Геза, офицерский денщик, живущий по соседству, сказал – а уж ему ли не знать? – что приказ отдан и теперь проклятым сербам устроят хорошую мясорубку. Стало быть, и Отто, как лейтенанта запаса, возьмут, и мужа ее сестры, обоих заберут, вот почему отец с матерью так расстроены. И правда, на следующее утро ее брат Отто неожиданно появляется в сизой егерской форме, с офицерским шарфом и с золотым темляком на сабле. Обычно он, сверхштатный учитель гимназии, носит черный, плохо почищенный сюртук; бледный, худой, долговязый парень с короткой стрижкой ежиком и мягким рыжеватым пушком на щеках всегда выглядел довольно потешно в солидном черном одеянии. Но сейчас, с энергично сжатыми губами, в плотно облегающем военном мундире, он кажется сестре каким-то новым, другим. С наивным девчоночьим восхищением оглядев брата, она всплескивает руками: «Черт возьми, какой ты шикарный!» И мать, никогда не поднимавшая на дочь руку, толкает ее так, что она

больно ударяется локтем о шкаф. «И тебе не стыдно, бессовестная?» Но эта вспышка гнева не облегчила затаенную боль, и мать тут же, разрыдавшись, с криками отчаяния бросается к сыну; молодой человек пытается сохранить мужское достоинство, вертит шеей и что-то говорит о родине, о долге. Отец отвернулся, он не может глядеть на это, и Отто, побледнев и стиснув зубы, чуть ли не силой высвобождается из неистовых материнских объятий. Затем он торопливо целует мать в щеки, на ходу жмет руку отцу и проскальзывает мимо Кристины, буркнув ей «пока». И с лестницы уже доносится звон его сабли. Пополудни приходит прощаться муж сестры, чиновник магистрата и фельдфебель тыловых частей; зная, что ему опасность не грозит, он беспечно разглагольствует о войне, словно о какой-то забаве, рассказывает в утешение анекдоты и уходит. Но они оставляют дома две тени: жену брата, беременную на четвертом месяце, и сестру с маленьким ребенком. Теперь обе женщины каждый вечер садятся с ними за стол, и всякий раз Кристине кажется, будто лампа горит все тусклее и тусклее. Стоит Кристине ненароком сказать что-нибудь веселое, как на нее устремляются строгие взоры, и даже потом, в постели, она казнит себя за то, что она такая плохая, несерьезная, совсем еще ребенок. Невольно она становится молчаливой. Смех в доме вымер, чутким стал сон в его стенах. Только ночами, случайно проснувшись, она слышит иногда за стеной тихий, неумолчный шорох, будто там падают призрачные капли: это мать, потерявшая сон, часами стоит на коленях перед освещенной иконой Богородицы и молится за сына.

Наступил 1915 год, ей семнадцать. Родители постарели на целый десяток лет. Отец – словно какая-то хворь подтачивает его изнутри – ходит, сморщенный, пожелтевший, сгорбленный, из комнаты в комнату, и все знают: он очень встревожен состоянием дел. Ведь уже шестьдесят лет, начиная с деда, во всей империи не было никого, кто умел так выделывать рога серны и так искусно набивать чучела лесной дичи, как Бонифаций Хофленер и сын. Он препарировал охотничьи трофеи по заказам Эстергази, Шварценбергов, даже эрцгерцогов для их замков, усердно трудясь с четырьмя-пятью подмастерьями с утра до поздней ночи, и работа была аккуратная, чистая. Теперь же, в это кровавое время, когда стреляют только в людей, дверной звонок в лавку молчит неделями, а сноха еще лежит после родов, и внушек болен, и на все нужны деньги. Все больше и больше горбится неразговорчивый мастер, пока однажды не надламывается совсем – когда приходит письмо с берегов Изонцо, впервые написанное рукой не сына, а его командира, и уже ясно: геройская смерть во главе роты, сохраняют память и т. д. Все тише становится в доме; мать больше не молится, лампадка перед иконой Богородицы потухла, мать забыла подлить масла.

1916 год, ей восемнадцать. Дома теперь неустанно твердят: слишком дорого. Мать, отец, сестра, невестка с утра до вечера подсчитывают, во что обходится убогая повседневная жизнь, вкладывая в эти подсчеты все свои заботы и тревоги. Слишком дорого мясо, слишком дорого масло, слишком дорога пара обуви; Кристина даже дышать почти не осмеливается из опасения, что это слишком дорого. Самые необходимые для жизни вещи, разбежавшись словно в панике, забились в норы спекулянтов и вымогателей, и приходится их искать – кланчить хлеб, торговаться с зеленщицей из-за горстки овощей, ездить в деревню за яйцами, везти на ручной тележке уголь с вокзала; изо дня в день в этой охоте состязаются тысячи мерзнущих и голодающих женщин, и с каждым днем добыча все скуднее. А у отца больной желудок, ему нужна особая, легкая пища. С тех пор как отец снял вывеску «Бонифаций Хофленер» и продал лавку, он ни с кем не говорит; прижмет только иногда руки к животу и постанывает, если уверен, что никто его не слышит. Вообще-то следовало бы позвать врача. Но «слишком дорого», говорит отец, продолжая тайком корчиться от боли.

1917 год, ей девятнадцать. На второй день нового года похоронили отца; денег на сберегательной книжке как раз хватило на то, чтобы переокрасить в черное одежду. Жизнь дорожает с каждым днем, две комнаты они уже сдали беженцам из Бродов, но денег все равно не хватает,

все равно, хоть надрывайся не покладая рук от зари до зари. Наконец деверю удалось выхлопотать для матери место кастелянши в Корнойбургском лазарете, а ее, Кристину, устроить пишбарышней в канцелярию. Если бы только не вставать на рассвете, не тащиться в такую даль, не мерзнуть утром и вечером в нетопленном вагоне. Потом делать уборку, штопать, чинить, шить, стирать, пока не отупеешь, и без единой мысли, без единого желания проваливаешься в тяжелый сон, от которого лучше не пробуждаться.

1918 год, ей двадцать. Все еще война, все еще ни одного свободного, беспечного дня, все еще нет времени поглядеться в зеркало, выйти на минутку в переулок. Мать жалуется, что у нее начали отекать ноги из-за работы в сыром помещении, но у Кристины почти не остается сил на сочувствие. Она уже слишком давно живет бок о бок с недугами; что-то в ней притупилось с тех пор, как она ежедневно печатает на машинке от семидесяти до восьмидесяти справок о страшных увечьях. Тяжело ковыляя на костылях – левая нога разmozжена, – к ней в канцелярию иногда заходит маленький лейтенант из Баната, с золотистыми, как пшеница на его родине, волосами, с нерешительным, еще детским лицом, на котором, однако, запечатлелись следы перенесенного ужаса. Тоскуя по дому, он рассказывает на старошвабском диалекте о своем селе, о собаке, о лошадях, бедный, потерянный белокурый ребенок. Однажды вечером они целовались на парковой скамейке, два-три вялых поцелуя, скорее сострадание, чем любовь; потом он сказал, что хочет жениться на ней, как только кончится война. С усталой улыбкой Кристина пропустила его слова мимо ушей; о том, что война когда-нибудь кончится, она и думать не осмеливается.

1919 год, ей двадцать один. Действительно, война окончилась, но не нужна. Раньше она прикрывалась лавинами распоряжений, коварно таилась под бумажными пирамидами свежестопеченных банкнотов и облигаций военных займов. Теперь она выползла, со впалыми глазами, ощерив рот, голодная, нахальная, и пожирает последние отбросы военных клоак. Как из снеговой тучи сыплются единицы с нулями: сотни тысяч, миллионы, но каждая снежинка, каждая тысяча тает на горячей ладони. Пока ты спишь, деньги тают; пока переобуваешь порванные туфли на деревянных каблуках, чтобы сбежать в магазин, деньги уже обесценились; все время куда-нибудь бежишь, и всегда оказывается, что уже поздно. Жизнь превратилась в математику, сложение, умножение, какой-то бешеный круговорот цифр и чисел, и этот смерч засасывает последние вещицы в свою ненасытную пасть: золотую брошь с груди матери, обручальное кольцо с пальца, камчатную скатерть. Но, сколько ни кидай, все напрасно, не спасает и то, что до глубокой ночи вяжешь шерстяные свитера и что все комнаты сдаешь жильцам, а самим приходится спать в кухне вдвоем. Только сон – вот единственное, что еще можно себе позволить, единственное, что не стоит ни гроша; в поздний час вытянуть на матраце свое загнанное, похудевшее, все еще девственное тело и на шесть-семь часов забыть об этом апокалипсическом времени.

Потом 1920–1921 годы. Ей двадцать два, двадцать три. Расцвет молодости, так ведь это называется. Но ей никто об этом не говорит, а сама она не знает. С утра до вечера лишь одна мысль – как свести концы с концами, когда денег все меньше и меньше? Чутьочку, правда, полегчало: дядя еще раз помог, самолично навестил своего приятеля (компаньона по карточной игре), служившего в почт-дирекции, и выклянчил у него для Кристины вакансию в почтовой конторе Кляйн-Райфлинга, захолустного виноградарского села; вакансия не ахти какая, но все же с правом на постоянную должность после кандидатского срока, хоть что-то надежное. На одного человека скудного жалованья хватило бы, но, поскольку в доме у зятя для матери места нет, Кристина вынуждена взять ее к себе и все делить на двоих. По-прежнему каждый день начинается с экономии и кончается подсчетами. На счету каждая спичка, каждое кофейное зернышко, каждая щепотка муки. Но все-таки дышать можно и можно существовать.

Затем 1922, 1923, 1924 годы – ей двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть. Все еще молодая? Или уже стареющая? У глаз постепенно наметились морщинки, иной раз устают

ноги, весной почему-то болит голова. Но жизнь все-таки идет вперед, и живется получше. Держишь деньги в руках и чувствуешь, какие они опять твердые и круглые, у нее постоянная работа «почтовой ассистентки», да и зять каждый месяц присылает матери два-три банкнота. Теперь самое время попытаться снова быть молодой, не сразу, потихоньку; мать даже требует, чтобы она выходила, развлекалась. И в конце концов заставляет ее записаться на уроки танцев в соседнем селе. Ритмические движения эти даются ей нелегко, слишком уж глубоко вошла в ее плоть и кровь усталость, суставы ее будто заковали, и музыке не удается их согреть. Она тщательно разучивает танцевальные па, но это не увлекает ее, не захватывает по-настоящему, и впервые она смутно догадывается: слишком поздно, война растоптала, оборвала ее молодость. Сломалась какая-то пружинка внутри, и мужчины, вероятно, тоже это чувствуют: ни один всерьез за ней не ухаживает, хотя ее нежный белокурый профиль кажется чуть ли не аристократическим на фоне краснощеких, круглолицых деревенских девиц. Зато послевоенная поросль ведет себя иначе, эти семнадцати-восемнадцатилетние не ждут смиренно и терпеливо, пока кто-нибудь соизволит их выбрать. Они считают, что имеют право на удовольствие, и требуют его с таким пылом, словно хотят не только насладиться своей молодостью, но и погулять еще за тех молодых, сотни тысяч которых убиты и погребены. С неким испугом подмечает двадцатилетняя девушка, как самоуверенно и требовательно держатся эти юные представительницы нового поколения, какие у них знающие и дерзкие глаза, как вызывающе они покачивают бедрами, как хихикают в ответ на недвусмысленные прикосновения парней и как, не смущаясь подруг, каждая по пути домой заворачивает с мужчиной в лесок. Кристине это противно. Усталой старухой, сломленной жизнью и бесполезной, чувствует она себя среди этой жадной и грубой послевоенной поросли; она не хочет, да и не способна состязаться с ними. Она вообще больше не хочет никакой борьбы, никаких усилий! Лишь бы спокойно дышать, молча предаваться грезам, исполнять свою службу, поливать цветы под окном, ни к чему не стремиться, ничего не желать. Только ничего больше не требовать, ничего нового, ничего волнующего; даже для радости у нее, двадцатилетней, обкраденной войной на десяток лет молодости, нет больше ни духа, ни сил.

С невольным вздохом облегчения Кристина отрешается от воспоминаний. Даже мысли о всех бедах и горестях, что она перенесла в юные годы, и те утомляют ее. Бессмысленна вся эта материнская затея! Зачем куда-то ехать, к какой-то тетке, которой она не знает, к людям, с которыми у нее нет ничего общего. О господи, но что же делать, если матери так хочется, если ей это доставляет радость; противиться не стоит, да и к чему? Я так устала, так устала! Примирившись с судьбой, Кристина достает из верхнего ящика стола лист бумаги, аккуратно сгибает его пополам и, подложив транспарант, принимается писать заявление в венскую почт-дирекцию с просьбой, чтобы ей предоставили полагающийся по закону отпуск – притом срочно, в связи с семейными обстоятельствами, – и прислали кого-нибудь взамен к началу следующей недели; пишет ровным, четким почерком, выводя красивые буквы с волосистой линией и нажимом. Второе письмо – в Вену сестре: просьба получить для нее швейцарскую визу, одолжить небольшой чемодан и приехать сюда, чтобы договориться, как быть с матерью. В последующие дни Кристина не торопясь, тщательно готовится к поездке, без каких-либо ожиданий, не испытывая ни радости, ни интереса, словно все это относится не к самой ее жизни, а к тому единственному, чем она живет, – службе и долгу.

Вся неделя прошла в сборах. Вечерами шили, штопали, чистили и обновляли старое; вдобавок сестра, вместо того чтобы купить что-нибудь на присланные доллары («Лучше приберечь их», – посоветовала эта робкая мешаночка), одолжила кое-что из собственного гардероба: ярко-желтое дорожное пальто, зеленую кофту, эмалевую брошь, которую мать купила в Венеции во время свадебного путешествия, и небольшой плетеный чемодан. Этого вполне хватит, полагает сестра, в горах не шеголяют нарядами, а в крайнем случае если Кристине что

понадобится, то уж лучше купить на месте. Наконец наступил день отъезда. Плоский плетеный чемодан несет собственноручно Франц Фуксталер, школьный учитель из соседнего села, он не хочет отказать себе в этой дружеской услуге. Небольшого роста, тщедушный и голубоглазый, робко поглядывающий из-за очков, он пришел к Хофленерам сразу же после той телеграммы, чтобы предложить свою помощь: в Кляйн-Райфлинге они единственные, с кем он водит дружбу. Его жена больше года лежит в казенной туберкулезной лечебнице «Алланд», признанная всеми врачами безнадежной; двух их детей взяли к себе иногородние родственники. Почти каждый вечер он сидит дома, один в двух вымерших комнатах, и тихо предается своему увлечению, занимаясь милыми его сердцу поделками. Он составляет гербарии, четко и красиво надписывая шрифтом рондо названия засушенных цветов, красной тушью – латинские, черной – немецкие; собственноручно переплетает свои любимые, кирпичного цвета, брошюры издательства «Реклам» в картонные обложки с пестрым узором, а на корешке тончайшим чертежным пером с микроскопической точностью вырисовывает печатные буквы. В более поздний час, когда соседи уже спят, он берет скрипку и по переписанным от руки нотам – не очень умело, но весьма старательно – играет, обычно Шуберта и Мендельсона. Или же из взятых в библиотеке книг выписывает на четвертушках тонкой зерновой бумаги понравившиеся ему стихи и мысли; когда этих белых листков набирается сотня, он сшивает их в очередной альбом с глянцевой обложкой и яркой табличкой на переплете. Словно арабский переписчик Корана, он предпочитает мягкие закругления, чередование тонких, спокойных линий и толстых, с энергичным нажимом, чтобы безмолвным шрифтом оживить и сделать зримой ту невысказанную радость и душевное напряжение, какие он испытывал во время чтения. Для этого тихого, скромного существа, обитающего в предоставленной ему общинной квартире (без садика под окнами), для такого человека книги – все равно что цветы в доме, и он высаживает их на полках яркими рядами, лелея каждую книгу, словно старый садовник, бережно прикасаясь к ней худыми бледными пальцами, как к хрупкой драгоценности. Школьный учитель никогда не посещает деревенского трактира; пива и табачного дыма он страшится, как набожные люди – зла, и спешит, нахмурившись, поскорее миновать злчное место, едва слышав доносящиеся оттуда брань и пьяные крики. Единственные люди, кого он навещает на досуге с тех пор, как слегла его жена, – это Хофленеры. Он часто заходит к ним после ужина просто поболтать или – что им особенно нравится – читает вслух книги, охотнее всего из «Полевых цветов» Адальберта Штифтера, их соотечественника, и от волнения его суховатый голос становится мелодичным. Застенчивый и несколько скучноватый, он незаметно для себя воодушевляется всякий раз, когда, подняв глаза от книги, смотрит на склоненную белокурую голову внимающей девушки; он чувствует, что его здесь понимают. Мать замечает, что происходит с учителем, и догадывается, что взгляд, который он бросает на ее дочь, станет иным, более смелым, когда свершится неминуемая судьба его супруги. Кристина же спокойна и молчит: она давно отвыкла думать о себе.

Учитель несет чемодан на правом, чуть опущенном плече, не обращая внимания на смех встречающих мальчишек. Груз не столь уж тяжкий, но тем не менее носильщику приходится пыхтеть, чтобы поспевать за Кристиной, нетерпеливо и стремительно шагающей впереди; она не ожидала, что прощание окажется таким тягостным. Несмотря на категорический запрет врача, мать трижды спускалась вслед за ней по лестнице, словно гонимая необъяснимым страхом, все никак не могла расстаться с дочерью, и трижды Кристине пришлось втаскивать грузную, плачущую навзрыд старую женщину обратно наверх, хотя времени уже оставалось в обрез. А потом, как с ней часто бывало в последние недели, мать вдруг на полуслове-полувсхлипе начала задыхаться, и ее уложили в постель. В таком состоянии ее покинула Кристина и сейчас, крайне озабоченная, казнила себя: такой возбужденной мать еще никогда не была. Не дай бог, с ней что-нибудь случится, а меня тут нет... Вдруг ей что-нибудь понадобится ночью, а сестра придет из Вены только на воскресенье. Правда, девушка из пекарни свято обещала, что вече-

рами посидит у нас, но надеяться на нее нельзя – на танцульки она сбежит и от собственной матери... Нет, не надо уезжать, зря поддалась на уговоры. Путешествия – это для тех, у кого дома нет больных, не для нас... если уж ехать, то недалеко, чтобы в любой момент успеть вернуться. Да и что мне даст эта поездка? Ну какая радость, если я все время буду тревожиться, каждую минуту думать, не нужно ли ей чего и что ночью никого с ней нет, а хозяева внизу звонка не слышат или не хотят слышать. Не любят они нас, будь их воля, давно бы выселили... На сменщицу из Линца тоже мало надежды; когда попросила ее, чтобы заглядывала к матери на минутку в обед и вечером, она ответила «ладно», причем ответила так холодно, сухо, что и не знаешь, зайдет она или нет... Может, все-таки телеграфировать тете отказ? Ну что ей, в самом деле, от того, приеду я или нет, ведь это только мать вообразила, что им до нас есть дело... Иначе хоть изредка писали бы из Америки или тогда, в тяжелое время, прислали бы посылку с продовольствием, как делали многие... Сколько их прошло на почте через мои руки, но ни одной – маме от родной сестры... Нет, зря я послушалась, по мне, так лучше отказаться, пока не поздно. Не знаю почему, но страшно. Так не хочется ехать, так не хочется.

Невысокий светловолосый робкий человек, стараясь не отставать от Кристины, то и дело переводит дух и успокаивает ее. Пусть она не тревожится, он сам – это он твердо обещает – будет каждый день навещать ее матушку. Уж кто-кто, а она заслужила наконец право на отпуск, ведь сколько лет работала и ни разу не отдыхала. Если бы она поступилась своим долгом – вот тогда он первый отсоветовал бы ей это делать; нет, пусть она не беспокоится, он каждый день будет посылать ей весточку, каждый день. Торопясь, тяжело дыша, он говорит все, что приходит на ум, только бы ее успокоить, и в самом деле – эти настоятельные уговоры приносят ей облегчение. Кристина не вслушивается в его слова, но чувствует: на этого человека можно положиться.

На станции уже дан сигнал о прибытии поезда, скромный провожатый смущенно прокашливается. Кристина заметила, что он давно переступает с ноги на ногу, видно, хочет что-то сказать, но не смеет. Наконец он нерешительно вынимает из нагрудного кармана нечто белое, сложенное гармошкой, и с извинениями протягивает ей. Нет, это, разумеется, не подарок, всего лишь небольшой знак внимания, возможно, ей пригодится. С удивлением она разворачивает продолговатую бумажную полоску. Это маршрутная карта ее поездки от Линца до Понтрезины: все названия гор, рек и городов вдоль железной дороги выписаны микроскопическими буквами черной тушью, горы заштрихованы реже или гуще, соответственно высоте, которая обозначена крохотными цифрами, нити рек прорисованы синим карандашом, кружки городов – красным; расстояния между городами проставлены в отдельной таблице внизу справа – точно так же, как на больших школьных картах Географического института; сельский учитель скопировал все любовно, с усердием, испытывая радость от приятного занятия. Кристина невольно зарделась. Видя, что подарок понравился ей, скромный человек приободрился. Он извлек еще одну карту, прямоугольный листок с золотой каемкой: это карта Энгадина, калькированная с большой военно-топографической карты Швейцарии, со всеми дорогами и тропинками, включая малейшие подробности, а в центре красным кружочком особо выделено здание. Это, поясняет он, отель, где она будет жить, взято из старого «бедекера»; таким образом она сможет сама ориентироваться на прогулках, не опасаясь сбиться с дороги. Кристина взволнованно благодарит его. Наверное, этот трогательный человек, держа от нее свой замысел в секрете, выписал из библиотеки в Линце или в Вене необходимые пособия, а потом целыми вечерами прилежно чертил и раскрашивал карты сто раз очиненными карандашами и специально купленным пером единственно ради того, чтобы сделать ей этот подарок, сочетающий приятное с полезным и доступный его средствам. Ее не начатое еще путешествие он заранее продумал и проследил километр за километром; днем и ночью он, наверное, думал о том, что ее ждет, сопровождая ее мысленно на всем пути. Благодарно протягивая сейчас руку этому человеку, растерявшемуся от собственной храбрости, Кристина словно впервые видит его глаза

за стеклами очков – голубые, добрые, ясные, как у ребенка; но вот эта ясная голубизна, пока она смотрит на него, становится вдруг темнее и глубже от охватившего его волнения. И у нее внезапно пробуждается чувство тепла, которого она еще ни разу не испытывала в его присутствии, чувство симпатии и доверия, которого никогда прежде не питала ни к одному мужчине. Какое-то неясное до сих пор ощущение окончательно созревает у нее в эту минуту; Кристина дольше и сердечнее, чем когда-либо, пожимает ему руку. Он чувствует перемену в ее настроении, у него начинается горячо стучать в висках, перехватывает дыхание, он смущается, подыскивая нужные слова. Но тут, пыхтя, словно огромный рассерженный зверь, подкатывает черный паровоз; волна воздуха, которую он гонит перед собой, чуть не вырывает листок из ее рук. Всего одна минута времени. Кристина поспешно входит в вагон, из окна она видит уже только машущий белый платок, который вскоре исчезает в дымной дали. Затем она остается одна, впервые за много лет одна.

Весь вечер Кристина, устало прислонившись к деревянной стенке купе, созерцает за исполосованными дождем оконными стеклами хмурый ландшафт под пасмурным небом. Сначала в сумерках еще смутно мелькали, будто вспугнутые зверьки, городишки и села, потом все смешалось и растаяло в тумане. Кроме нее, в купе вагона третьего класса никого, и она позволила себе вытянуть на скамье ноги, только теперь почувствовав, до чего устала. Она пробует собраться с мыслями, но монотонный стук колес и покачивание вагона мешают сосредоточиться; все плотнее затуманивает сознание, отгоняя боль в висках, парализующая мгла дремоты, то отупляющее вагонное забытие, когда, одурев, лежишь как в черном угольном мешке, а мешок трясут и трясут. В пространстве движется ее неподвижное тело, под ним, внизу, шумят, мчатся, словно подгоняемые бичом, колеса, а над ее запрокинутой головой течет время, безмолвно, неуловимо, беспредельно. Усталость Кристины настолько полно растворилась в этом стремительном черном потоке, что она перепугалась, когда утром внезапно с грохотом раздвинулась дверь и в купе шагнул широкоплечий уса́тый мужчина строгого вида. Прошло несколько мгновений, и Кристина, очнувшись от сна, сообразила, что этот человек в форме не намерен причинить ей зло, арестовать и увести, он хочет лишь ознакомиться с ее паспортом, который она и вытаскивает одеревеневшими пальцами из сумочки. Жандарм сверяет наклеенную фотокарточку с встревоженным лицом ее владелицы. Кристину охватывает дрожь, еще с войны в ней сидит нелепый и тем не менее неистребимый страх нарушить какое-нибудь из сотен тысяч постановлений: ведь всегда можно оказаться нарушителем какого-либо закона. Но жандарм любезно возвращает ей паспорт и, небрежно откозыряв, закрывает за собой дверь – на этот раз осторожнее, чем открывал. Теперь можно было бы и снова улечься, но пережитая тревога спугнула сон. Кристина подошла к окну. И – оторопела. За холодными как лед стеклами, где только что (когда она спала, время как бы остановилось) до самого горизонта серой волной текла в туман глинистая равнина, из земли вздыбились каменными громадами горы, никогда не виданные ею гигантские образования; перед ее восхищенно-испуганным взглядом вознеслись невообразимо величественные Альпы. И в эту самую минуту первый луч солнца, пробившись с востока над седловиной, засверкал миллионами бликов на леднике самой высокой вершины, и этот ничем не замутненный, ослепительно-белый свет так резко ударил в глаза, что Кристина невольно зажмурилась. Но эта мгновенная резь в глазах заставила ее окончательно проснуться. Рывок – и оконная рама, чтобы приблизить чудо, со стуком опускается вниз, и тут же в раскрытый от изумления рот врывается свежий, морозный, колючий, напоенный пряным снежным ароматом воздух, заполняя легкие: никогда еще она не дышала так глубоко и чисто. Невольно она разводит руки, чтобы этот первый, поспешный, обжигающий, глоток проник еще глубже, и вот уже всей грудью чувствует, как от морозного вдоха по жилам – чудесно, чудесно! – разливается блаженное тепло. И только сейчас, освеженная, она принимается рассматривать все по порядку, слева, справа; ее оттаявший взгляд радостно ощупывает каждый гранитный склон с ледяными бордюрами, от нижнего до самого верхнего, обнаруживая все новые подробно-

сти – водопад, низвергающийся в долину белопенными сальто-мортале; изящные, как бы придавленные скалами домики, приютившиеся в расщелинах, словно птичьи гнезда; орла, гордо парящего над высочайшей вершиной; и надо всем этим царит божественно чистая, шелестящая синева, излучающая такую силу и радость, о какой Кристина и не подозревала. Впервые в жизни убежавшая из своего тесного мирка, она не отрывает глаз от невероятного зрелища, от этих словно выросших за ночь каменных башен. Тысячелетия, должно быть, стоят они здесь, эти исполинские твердыни Создателя, и незыблемо простоят, быть может, еще миллионы и миллиарды лет, а она, Кристина, если б не случайная эта поездка, могла умереть, истлеть и обратиться в прах, даже не догадываясь, что на свете есть такое великолепие. Ничего этого она никогда не видела, да и вряд ли мечтала увидеть, ее жизнь текла стороной: бессмысленное прозябание на клочке пространства шириной в вытянутую руку – шаг туда, шаг обратно, меж тем как на расстоянии всего лишь одной ночи, одного дня начинается многообразнейшая беспредельность. И внезапно в ее донине бездеятельное, равнодушное сознание впервые проникает догадка о чем-то упущенном. В такие мгновения у человека все в душе переворачивается от ощущения могучей силы странствий, которая одним взмахом срывает с него твердую скорлупу привычного и забрасывает обнаженное плодоносное ядро в стихию безудержных превращений.

Прижавшись раскрасневшейся щекой к оконной раме, Кристина целиком отдалась этому впервые охватившему ее чувству и с жадным любопытством смотрит и смотрит во все глаза. Ни единой мыслью не оглядывается она назад. Забыта мать, служба, деревня, забыта лежащая в сумочке любовно нарисованная карта, на которой она могла бы прочесть название каждой вершины и каждого горного ручья, опрометью несущегося в долину, забыто собственное вчерашнее «я». Только бы впитать все до последней капли, только бы не упустить ничего из беспрестанно меняющейся величественной панорамы, запечатлеть каждый ее кадр и пить, пить, не отрывая губ, морозный воздух, крепкий и пряный, как можжевельника, этот волшебный горный воздух, от которого сердце бьется звонче и решительней! Четыре часа Кристина, не отходя ни на минуту, смотрит в окно, настолько увлеченная, что забыла о времени, и, когда поезд останавливается и кондуктор на незнакомом диалекте, но все же внятно объявил название станции, где она должна сойти, у нее в испуге замерло сердце.

Боже мой – сделав над собой усилие, Кристина очнулась от сладостных грез, – уже приехала и ничего не успела придумать: ни как поздороваться с тетей, ни что сказать ей при встрече. Она поспешно хватается чемодан, зонтик – только бы ничего не забыть! – и устремляется вслед за выходящими пассажирами. Носильщики в разноцветных фуражках, выстроившиеся к приходу поезда строго, по-военному, в два ряда, тут же разлетелись, с охотничьим азартом ловя прибывших; отовсюду слышатся шумные приветствия, выкрикивают названия отелей. Но Кристину никто не встречает. Она растерянно оглядывается вокруг, от волнения у нее сдавило горло, она высматривает, ищет. Но тщетно. Никого. Всех встречают, все знают, куда им идти, только она не знает, одна она. Приехавшие уже толпятся у гостиничных автобусов, пестрой вереницей стоящих в ожидании, словно готовая к стрельбе батарея; перрон почти опустел. И по-прежнему никого: о ней забыли. Тетя не пришла: может быть, уехала или заболела, и ей, Кристине, телеграфировали, что поездка отменяется, а телеграмма, увы, запоздала. Господи, хоть бы хватило денег на обратную дорогу! Собравшись с духом, она все же решается подойти к служителю, у которого на околыше фуражки золотится надпись «Отель «Палас», и слабым голосом спрашивает, не живут ли у них супруги ван Болен. «Как же, как же», – гортанно отвечает важный краснолобый швейцарец, ну да, конечно, ему поручено встретить барышню на вокзале. Пусть она даст ему квитанцию на багаж, а сама пока садится в автобус. Кристина покраснела. Только сейчас она заметила, и это ее больно задело, как выдает ее бедность зажатый в руке нищенский плетеный чемоданчик на фоне новеньких, будто с витрины, гигантских кофров, сверкающих металлической оковкой и неприступно возвышающихся среди пестрых

кубиков из ценной юфти, чистой лайки, крокодиловой и змеиной кожи, ожидающих погрузки. Она вмиг почувствовала, как бросается в глаза дистанция между другими пассажирами и ею. Ее охватило смущение. Надо что-нибудь соврать – быстро решает она.

– Остальной багаж придет потом.

– Ну что ж, тогда можно ехать, – заявляет (слава богу, без всякого удивления или презрения) величественная ливрея и распахивает дверцу автобуса.

Стоит человеку чего-нибудь устыдиться, как это неощутимо откладывается даже в самом отдаленном уголке сознания, затрагивая каждый нерв; и любое беглое упоминание, всякая случайная мысль заставляют однажды устыдившегося снова претерпевать пережитую муку. От этого первого толчка Кристина утратила свою непосредственность. Она неуверенно ступает в сумрачный салон автобуса и тотчас невольно отшатывается, увидев, что она здесь не одна. Но пути назад уже нет. Ей придется пройти через этот благоухающий духами и терпкой юфтью полумрак, мимо неохотно убираемых ног, чтобы добраться к задним местам. Опустив глаза, втянув голову в плечи, как от озноба, совершенно оробев, она движется по проходу и от растерянности бормочет «здрасьте» каждой паре ног, которые минует, словно этой учтивостью просит извинить ее присутствие. Однако никто ей не отвечает. Либо осмотр, проведенный шестнадцатью парами глаз, окончился неблагоприятно для Кристины, либо пассажиры – румынские аристократы, бойко болтающие на скверном французском, – и вовсе не обратили внимания на жалкое существо, робкой тенью проскользнувшее в дальний угол. Пристроив чемодан на коленях – поставить его на свободное место она не отважилась, – Кристина пригнулась, чтобы укрыться от возможных насмешливых взглядов; всю дорогу она ни разу не осмеливается поднять глаза, смотрит только в пол, только на то, что ниже сидений. Но роскошная обувь женщин тотчас напоминает ей о ее собственных неуклюжих туфлях. Оторопело взирает она на стройные женские ноги, надменно скрещенные под распахнутыми горностаевыми мантиями, на пестрые мужские носки гольфа, и этот «нижний» этаж богатства вызывает у нее озноб: как ей быть среди такого невиданного шика? На что ни взглянет – новые мучения. Вот наискосок от нее девушка лет семнадцати держит на коленях пушистую китайскую болонку, та лениво потягивается, повизгивая; попона на собачонке оторочена мехом и украшена вышитой монограммой, а полудетская почесывающая шерстку рука сверкает бриллиантом и розовым маникюром. Стоящие в углу клюшки для гольфа и те выглядят нарядно в новеньких чехлах из гладкой кожи кремового цвета, а у каждого из небрежно брошенных зонтиков своя неповторимая экстравагантная ручка – Кристина произвольным жестом прикрывает ручку своего зонтика, сделанную из дешевого тусклого рога... Только бы никто не взглянул на нее, только бы никто не заметил, что она сейчас переживает, что впервые в жизни увидела! Все ниже склоняет голову несчастная, все незаметнее ей хочется стать, и всякий раз, когда вблизи раздается смех, по спине у нее бегут мурашки. Но она боится поднять глаза и удостовериться, в самом ли деле этот смех относится к ней.

Но вот мучительным минутам приходит конец – под колесами хрустит мелкий гравий, автобус подруливает к отелю. На звук клаксона, резкого, как вокзальный колокол, к машине сбегается пестрый отряд сезонных носильщиков и боев. За ними, более церемонно – положе-ние обязывает, – в черном сюртуке и с геометрически ровным пробором появляется главный администратор. Первой из автобуса выпрыгивает болонка и, приземлившись, отряхивается; не прерывая громкой болтовни, одна за другой выходят дамы; они спускаются, высоко подобрав мантию над спортивно-мускулистыми икрами и оставляя за собой почти одуряющие волны благоуханий. Хотя бы из приличия мужчинам следовало пропустить вперед робко приподнявшуюся девушку, но либо они правильно определили ее происхождение, либо просто не замечают ее; во всяком случае, господа выходят, не оглядываясь на нее, и направляются к администратору. Кристина в растерянности остается сидеть с плетеным чемоданчиком, который стал ей теперь ненавистен. Пусть они все отойдут подальше, думает она, это отвлечет от меня внима-

ние. Но медлит она слишком долго, и когда наконец ступает на подножку, господин в сюртуке уже удаляется с румынами, бои деловито несут следом ручной багаж, сезонники громыхают на крыше автобуса тяжелыми кофрами, и никто из них к ней не подбегает. Никто не обращает на нее внимания. Очевидно, ее приняли за служанку, думает она, испытывая чувство крайнего унижения, ну в лучшем случае за горничную одной из тех дам, ведь носильщики снуют мимо нее с полным равнодушием, будто она такая же, как и они. Терпение ее наконец иссякает, и, собравшись с последними силами, она проталкивается в холл к дежурному администратору.

Дежурный администратор в разгар сезона... Разве осмелишься заговорить с ним, этим капитаном огромного роскошного корабля, царственно возвышающимся за своей конторкой и непоколебимо держащим свой курс сквозь шторм вопросов. Десятка полтора приезжих ждут решения этого Всемоущего, который одной рукой что-то записывает, другой сжимает телефонную трубку, направо и налево дает справки, по его знаку – кивком или взглядом – бои разлетаются во все стороны; это универсальный человек-машина с постоянно натянутыми нервами-канатами; если перед его величеством стоят в ожидании даже особы полноправные – что же говорить о неопытном, застенчивом новичке? Столь недоступным кажется Кристине этот повелитель столпотворения, что она почтительно отступает в нишу, решив переждать, пока уляжется суматоха. Но постылый чемодан все сильнее оттягивает руку. Тщетно оглядывается Кристина вокруг в поисках скамейки, куда можно бы его поставить. В этот момент ей показалось – наверное, вообразила от волнения, – что сидящие неподалеку в креслах люди бросают на нее иронические взгляды, перешептываются и смеются; еще мгновение – и она выронила бы ставшую непосильной ношу, так ослабели вдруг у нее пальцы. Но именно в эту критическую минуту к ней решительным шагом подходит искусственно белокурая, искусственно моложавая, очень элегантная дама, пристально разглядывает ее профиль, а затем спрашивает:

– Это ты, Кристина?

И когда племянница скорее выдохнула, чем произнесла «да», тетя легонько взяла ее за плечи и чмокнула в щеку, обдав тепловатым запахом пудры. Кристина, с радостью почувствовав наконец после отчаянного одиночества что-то близкое, родное, кинулась в едва намеченные объятия столь бурно, что тетя, восприняв этот порыв как проявление родственной нежности, была весьма тронута. Она погладила вздрагивающие плечи:

– О, я ужасно рада, что ты приехала; Энтони и я, мы оба очень рады. – И, взяв ее за руку: – Идем, тебе, конечно, надо привести себя в порядок, ведь ваши дороги в Австрии, наверное, жутко некомфортабельны. Спокойно собирайся – только не слишком долго. К ланчу уже бил гонг, а Энтони не любит ждать, это его слабость. We have all prepared... Ах да, мы все подготовили, портье сейчас даст ключ от твоего номера. И быстренько, ладно? Никаких шикарных туалетов, к обеду здесь каждый одевается как хочет.

По мановению тетиной руки ливрейный бой мигом подхватывает чемодан, зонтик и бежит за ключом. Бесшумный лифт поднимает Кристину на третий этаж. В середине коридора бой отпирает дверь и, сдернув с головы круглую шапочку, отступает в сторону. Значит, это ее комната. Кристина входит. И уже на пороге отшатывается, словно ошиблась дверью. Ибо при всем желании сельская почтарка из Кляйн-Райфлинга, привыкшая видеть вокруг себя одну лишь убогость, не способна так быстро переключиться и поверить, будто эта комната предназначена ей, эта роскошно просторная, изумительно светлая, оклеенная яркими обоями комната, куда через распахнутые настежь двери балкона, словно через хрустальный шлюз, низвергаются каскады света. Неукротимый светопад заливает все помещение, каждый предмет напоен лучащейся стихией. Полированная мебель сверкает своими гранями, будто хрусталь, на латуни и стекле весело искрятся солнечные блики, даже ковер с ткаными цветами выглядит настоящей живой лужайкой. Не комната, а сияющее райское утро; ослепленная, ошеломленная этим пиршеством света, Кристина невольно ждет, пока успокоится заколотившееся сердце, а потом с некоторым угрызением совести быстро притворяет дверь. Сначала было изумление:

возможно ли такое вообще – столько блеска, великолепия! И вторая мысль, давно и неразрывно связанная с несбыточными ее желаниями: сколько это должно стоить, как же много денег, как ужасно много денег! Наверное, один-единственный день стоит здесь больше, чем она зарабатывает за неделю – да нет, за месяц! Смушенно – ну кто же осмелится чувствовать себя здесь как дома – Кристина, оглянувшись, осторожно ступает на дорогой ковер одной ногой, другой. Потом благоговейно и все же со жгучим любопытством принимается обследовать достопримечательности. Сначала она бережно ощупывает постель: неужели здесь действительно можно будет спать, в такой свежайшей, прохладной белизне? А пуховое одеяло – легкое, нежное, с вышитыми шелком цветами, ну как пушинка на ладони; нажимаешь пальцем, и вспыхивает лампа, окрашивая угол в теплый розовый цвет. Открытие за открытием: умывальник – белая сверкающая раковина с никелированными кранами, кресла – мягкие и до того глубокие, что с трудом выбираешься из их податливой топи; полированная мебель из ценного дерева так гармонирует с весенней зеленью обоев, а на столе, встречая гостью, горят четыре разноцветные гвоздики в высокой узкой вазе – ну чем не красочный приветственный туш хрустальной трубы! Волшебная, немыслимая роскошь! И все это будет у нее перед глазами, всем она будет пользоваться, обладать день, неделю, две недели; предвкушая наслаждение, Кристина, как робкая влюбленная, крадется от предмета к предмету, пытливо ощупывает их один за другим и то и дело изумляется, пока вдруг, точно наступив на змею, в ужасе не отскакивает и чуть не падает. Случилось же следующее: она совершенно машинально распахнула огромный стеной шкаф, не ожидая, что к внутренней стороне дверцы прикреплено большое зеркало, – и тут, словно игрушечный чертик с красным языком, выпрыгнувший из шкатулки, на нее глянуло во весь рост изображение, в котором она с ужасом увидела жестокую реальность – самое себя, то единственное, что было неприличным в этой фешенебельной обстановке. Яркое-желтое растопыренное дорожное пальто, помятая соломенная шляпа над растерянным лицом – это зрелище потрясло ее до глубины души. Вон отсюда, пройдоха! Не марай приличный дом! Марш на свое место! – казалось, прикрикнуло на нее зеркало. В самом деле, думает Кристина удрученно, ну как я могу себе позволить жить в такой комнате, в таком отеле? Срамить тетю! Никаких шикарных туалетов, сказала она! Будто они у меня есть! Нет, не пойду вниз, останусь здесь. Лучше уеду обратно. Но куда же спрятаться, как я успею исчезнуть? Ведь тетя сразу хватится меня и будет возмущена. Невольно стремясь удалиться от зеркала, Кристина выходит на балкон. Судорожно сжав перила, она смотрит вниз. Броситься бы – и всему конец...

Но тут снизу раздается еще один боевой удар гонга. Боже мой! Ведь в холле ее ждут дядя с тетей, спохватывается Кристина, а она тут мешкает. И не умылась еще, и даже не сняла ненавистное пальто, приобретенное сестрой на распродаже. Она лихорадочно раскрывает чемодан, чтобы достать туалетные принадлежности, завернутые в кусок прорезиненной ткани. Но когда она выкладывает на чистую хрустальную полочку грубое мыло, царапающую деревянную щеточку и другие предметы, купленные явно по самой дешевой цене, ей кажется, что она вновь демонстрирует все свое мещанское убожество перед чьим-то язвительно-высокомерным взором. Что подумает горничная, увидев это, – наверняка с издевкой разболтает своим товаркам о нищенке; те расскажут другим, сразу весь отель узнает, и ей придется каждый день проходить мимо них, каждый день, потупив глаза и слыша шушуканье за спиной. Нет, здесь тетя ничем не поможет, этого не скроешь, это распространится повсюду. На каждом шагу какая-нибудь прореха да откроется, и ее платье и обувь только еще больше обнажат всем-всем ее убожество. Да, но надо торопиться, тетя ждет, а дядя, сказала она, ждать не любит. Господи, что делать? Что же надеть? Первая мысль – зеленую блузку из искусственного шелка, которую ей одолжила сестра, но то, что еще вчера, в Кляйн-Райфлинге, она считала украшением своего гардероба, теперь кажется ей ужасно безвкусным и вульгарным. Лучше уж простую белую, она неприметнее, и захватить цветы из вазы: если держать их перед блузой, то, может, яркий букет отвлечет на себя внимание. Потом, пряча глаза и едва дыша от страха, что ее разглядывают, Кристина

торопливо сбегает по лестнице в холл, обгоняя других, – в лице ее ни кровинки, голова болит и кружится, и такое чувство, будто она наяву летит в пропасть.

Спустившись в холл, она замечает тетю. Странно, что это с девчонкой? – думает та, направляясь к племяннице. То идет, то скачет, от людей шарахается, стесняется, что ли? Нервная, видать, штучка; да, надо было заранее о ней разузнать! Господи, а теперь встала как дурочка у входа; может, она близорукая или еще что-нибудь не в порядке?

– Ну что с тобой, детка? Ты совсем бледная. Тебе нездоровится?

– Нет, нет, – лепечет Кристина все еще в растерянности. Ужас сколько тут народу в холле, а вот та дама в черном, с лорнетом, как она сюда уставилась! Наверное, разглядывает ее смехотворные, неуклюжие туфли.

– Пойдем, пойдем, детка, – зовет тетя и берет ее под руку, даже не подозревая, какую услугу, какую огромную услугу оказывает запуганной племяннице. Ведь тем самым Кристина хоть на полшага отступает наконец-то в спасительную тень, под крыло, в укрытие: тетя по крайней мере с одного боку заслоняет ее своим телом, своим туалетом, своим видом. Благодаря провожатой Кристине удастся довольно спокойно пересечь ресторанный зал и подойти к столику, где их ждет флегматичный, грузный дядя Энтони; он поднимается, его обвислые щеки растягиваются в добродушной улыбке, типично голландские светлые глаза с красноватыми веками приветливо смотрят на племянницу, и он протягивает ей тяжелую, натруженную лапу. Радость его вызвана главным образом тем, что не надо больше дожидаться за накрытым столом, – как всякий голландец, он любит поесть, обильно и с комфортом. Помех в этом деле он не терпел и со вчерашнего дня втайне опасался, что встретит эдакую несносную светскую бездельницу, которая своей болтовней и расспросами испортит ему трапезу. Но, глядя сейчас на новоявленную племянницу, бледную, застенчивую и привлекательную в своем смущении, он успокаивается и сразу заключает, что с ней можно легко поладить.

– Первым делом поешь, а уж потом поговорим, – ласково и дружески подбадривает он ее.

Эта худенькая робкая девушка, не осмеливающаяся поднять глаза, радует его, она совсем не похожа на тех бойких девиц за океаном, которых он не переваривает, потому что они вечно заводят граммофон и так вызывающе вихляются, как никогда не позволит себе ни одна женщина из его старой Голландии. Невольно покряхтивая, он склоняется над столом и собственноручно наливает ей вино, а затем делает знак официанту, чтобы подавал обед.

У официанта жесткие крахмальные манжеты и такое же натянутое, чопорное лицо; о господах, ну что за экстравагантные блюда он подает, какие-то странные, невиданные закуски: охлажденные на льду маслины, пестрые салаты, серебристые рыбы, горы артишоков, непостижимые кремы, нежнейший паштет из гусиной печени и розовые ломтики семги – все такое изысканное, тонкое, должно таять во рту. Но вот каким из дюжины положенных приборов есть эти неведомые деликатесы? Маленькой или круглой ложкой, изящным ножичком или широким ножом? Чем их резать и брать, чтобы не обнаружить перед этим платным наблюдателем и опытными соседями, что ты впервые в жизни попала в столь шикарный ресторан? Как избежать хотя бы грубых оплошностей? Стараясь выиграть время, Кристина медленно разворачивает салфетку и при этом искоса следит из-под опущенных век за тетиными руками, чтобы подражать каждому ее движению. Однако вместе с тем ей приходится выслушивать дружеские вопросы дяди, и выслушивать очень внимательно, так как его речь на смешанном голландско-немецком вдобавок обильно уснащена английскими оборотами; она вынуждена напрячь все силы, чтобы не только выдерживать сражение на два фронта, но и преодолевать чувство неполноценности, слыша позади неумолкающее шушуканье и воображая, что соседи бросают на нее ехидные или жалостливые взгляды. Страшась обнаружить свою убогость и неопытность перед дядей и тетей, перед официантом, перед любым сидящим в зале и в то же время стараясь выглядеть беспечной, даже веселой, Кристина была напряжена до предела, так что эти полчаса

за обедом показались ей вечностью. До десерта она кое-как продержалась; наконец тетя, не догадываясь об истинной причине, заметила ее смущение:

– Ты выглядишь усталой, детка. Впрочем, неудивительно, если всю ночь едешь в этих дрянных европейских вагонах. Ничего, не смущайся, приляжешь на часок, поспишь, а потом двинемся. Спешить нам некуда, Энтони тоже всегда отдыхает после обеда. – Поднявшись, она берет племянницу под руку. – Идем, я тебя провожу. Полежишь, встанешь бодрой, и тогда мы хорошенько прогуляемся.

Кристина глубоко вздыхает, признательная тете. Спрятаться на час за закрытой дверью – значит выиграть целый час.

– Ну, как она тебе понравилась? – спрашивает, едва войдя в номер, тетя своего Энтони, который уже на ходу расстегивает пиджак и жилетку.

– Очень мила, – зевает дородный супруг, – милое венское лицо... Передай-ка мне подушку... В самом деле, очень мила и скромна. Только – I think so at least³ – я нахожу, что она бедновато одета... ну... не знаю, как это выразить... у нас такого вот уже давно нет... и если ты решишь представить ее здесь Кинсли и другим как нашу племянницу, ей следовало бы, пожалуй, одеться более презентабельно... Не могла бы ты выручить ее своим гардеробом?

– Видишь, у меня уже ключ в руке. – Госпожа ван Боолен улыбается. – Я сама перепугалась, когда увидела ее среди приехавших, еще там, во дворе... да, зрелище весьма компрометирующее. А ведь ты не видел ее пальто – яичный желток, великолепный экземпляр, специально для лавки индейских диковинок... Бедняжка, если б она знала, какой провинциальный у нее наряд, ах, господи, откуда ж ей это знать... ведь все они там, в Австрии, совершенно down⁴ из-за этой проклятой войны, ты же сам слышал, что она рассказывала, – дальше трех миль за Вену еще ни разу не выезжала, никогда не бывала среди людей... Poor thing⁵, сразу видно, что ей здесь не по себе, ходит совсем запуганная... Ладно, так и быть, обряжу ее как полагается, привезла я сюда достаточно, а чего не хватит, куплю в английской лавке; никто ничего не заметит, да и почему бы ей не поблаженствовать разок недельку-другую, бедняжке.

И пока утомленный супруг погружается на оттоманке в дрему, она производит смотр двум большим кофрам, возвышающимся в прихожей, словно кариатиды, чуть не до потолка. За две недели в Париже госпожа ван Боолен отдала должное не только музеям, но в немалой мере и дамским портным: в ее руках шелестит крепдешин, шелк, батист, она вытаскивает одну за другой дюжину блузок и платьев, щупает, прикидывает на свет и на вес, пересчитывает, вешает обратно; ее пальцы обстоятельно, но не без удовольствия прогуливаются по переливчатым и черным, нежным и плотным тканям и платьям, прежде чем она решается, что уступить Кристине. Наконец на кресле вырастает радужный пенный холмик из тонких платьев, чулок и белья; весь этот почти невесомый груз она поднимает одной рукой и несет в номер к племяннице. Тихонько отворив дверь, тетя входит, однако в первый момент ей кажется, что комната пуста. Окно распахнуто, в креслах никого, за письменным столом тоже; она собирается положить вещи на стул, как вдруг обнаруживает Кристину спящей на кушетке. С непривычки и от смущения девушка пила вино торопливо, а дядя, добродушно посмеиваясь, подливал и подливал ей в бокал, и вот голова у нее странно отяжелела. Кристина было присела на кушетку, чтобы подумать, поразмышлять обо всем, но вскоре сонливость мягко склонила ее к подушкам, и она незаметно уснула.

Вид спящего человека, его беспомощность всегда производят либо трогательное, либо забавное впечатление. Тетя была растрогана, когда на цыпочках приблизилась к племяннице.

³ По крайней мере мне так кажется (англ.).

⁴ Разорены (англ.).

⁵ Бедняжка (англ.).

Во сне Кристина стеснительно прикрыла руками грудь, как бы защищаясь от чего-то; этот жест и по-детски, словно в испуге, полуоткрытый рот невольно вызывают сочувствие; брови тоже чуть приподняты, будто ей снится что-то тревожное.

Тетю вдруг озаряет догадка: она и во сне боится, даже во сне. До чего же бледные у нее губы, и цвет лица какой нездоровый, а ведь совсем еще молодая и спит как ребенок... Наверное, от плохого питания, рано пришлось самой зарабатывать, намыкалась, измоталась, совсем изнуренная, а девочке и двадцати восьми еще нет. Poor char!⁶ Что-то вроде стыда внезапно просыпается в добросердечной женщине, пока она смотрит на племянницу, и не подозревающую, что ее тайны разгаданы. В самом деле, такая усталая, несчастная, замученная, а мы – ну просто срам, давно надо было им помочь. Мы же занимаемся там всяческой благотворительностью, устраиваем сотни charity teas⁷, жертвуем на рождественские подарки, сами не зная для кого, а тут собственная сестра, родная кровь, и о ней все эти годы даже не вспомнили, когда несколько сотен долларов могли бы совершить чудо. Конечно, они могли бы и написать, напомнить о себе – вечно у этих бедняков дурацкая гордость, не хотят попросить! Слава богу, что хоть теперь еще можно поддержать эту бледную, робкую девушку, доставить ей немного радости. Сама не понимая почему, тетя со все большим умилением вглядывается в мечтательный облик спящей – то ли она увидела в нем свое собственное отражение, всплывшее в зеркале детства, то ли вдруг вспомнила давнюю фотографию матери, которая в тонкой позолоченной рамке висела над ее детской кроватью? Или воскресло чувство одиночества, которое она испытывала тогда в нью-йоркском пансионе, – во всяком случае, стареющая женщина внезапно ощутила прилив нежности. И ласково погладила белокурые волосы племянницы.

Кристина мгновенно просыпается. Уход за больной матерью приучил ее вскакивать от малейшего прикосновения.

– Уже так поздно? – лепечет она виновато. Извечный страх опоздать, присущий всем служащим, сопровождает ее во сне уже многие годы и просыпается вместе с первым звонком будильника. Первый взгляд на часы – всегда вопрос: «Я не опоздаю?» И первое чувство после утреннего пробуждения – неизменно страх провиниться в чем-нибудь на службе.

– Деточка, зачем же так пугаться? – успокаивающе говорит тетя. – Здесь времени столько, что не знаешь, куда его девать. Не волнуйся, отдохни, если еще чувствуешь себя усталой, ей-богу, я не хотела тебя беспокоить, вот только принесла несколько платьев, посмотри, может, какое и понравится, наденешь. Я их притащила из Парижа такую уйму, что чемодан не закрывается, ну и подумала: лучше ты вместо меня поносишь парочку-другую.

Кристина чувствует, как краска заливает ей лицо и шею. Значит, они все-таки это поняли сразу, с первого взгляда, она их срамит своей бедностью... наверное, оба, и дядя и тетя, стыдятся ее. Но как деликатно тетя хочет помочь ей, как маскирует она подачку, стараясь не обидеть ее.

– Ну как я смогу носить твои платья, тетя? – запинаясь, говорит Кристина. – Ведь они слишком дороги для меня.

– Чепуха, они наверняка будут тебе больше к лицу, чем мне. Энтони и так уже ворчит, что я одеваюсь слишком молодо. Ему хотелось бы, чтоб я выглядела как его двоюродные бабушки в Гандаме: плотный черный шелк, застегнуты от пяток до жаб, как истинные протестантки, а на макушке белый крахмальный чепчик. На тебе эти тряпки ему понравятся в тысячу раз больше. Ну, давай примерь, какое ты выберешь сегодня на вечер?

И одним взмахом – в ней неожиданно проснулась давно забытая сноровка манекенщицы – она выхватывает легчайшее платье и прикладывает к своей фигуре. Цвета слоновой кости, с пестрой японской каймой, оно светится по-весеннему рядом с другим платьем, где алые ост-

⁶ Бедняжка! (англ.)

⁷ Благотворительное чаепитие (англ.).

роконечные язычки пламени трепещут на черном как ночь шелке. Третье – болотного оттенка с серебряными прожилками по краям, и все три кажутся Кристине столь прекрасными, что она и мысли не допускает пожелать их или обладать ими. Такие роскошные и тонкие вещи даже надеть страшно: все время будешь бояться – вдруг порвешь по неопытности. А как ходить, двигаться в этом облачке, сотканном из цвета и света? Ведь носить эти платья надо сперва научиться.

И все-таки ни одна женщина не может устоять перед этими сокровищами. Ноздри ее возбужденно трепещут, рука начинает странно дрожать, пальцам хочется нежно погладить ткань, и лишь с трудом она сдерживает себя. Тете по давнишнему опыту знакомо это вожделение во взгляде, это почти сладострастное волнение, которое охватывает всех женщин при виде роскоши; она невольно улыбается, заметив внезапно вспыхнувшие огоньки в глазах робкой блондинки; от одного платья к другому блуждают они, беспокойно, нерешительно, и Опытность знает, какое платье выберет Неискушенность, и знает, что, выбрав, будет с раскаянием взирать на другие. Из самых добрых побуждений тетя с удовольствием подливает масла в огонь:

– Спешить некуда, я оставляю тебе все три, сегодня выберешь сама по вкусу, а завтра попробуешь остальные. Чулки и белье я тоже захватила... теперь тебе недостает чего-нибудь такого свеженького, бодренького, что чуточку подкрасит твои бледные щеки. Если не возражаешь, пойдем-ка прямо сейчас в stores⁸ и купим все, что тебе понадобится в Энгадине.

– Но, тетя, – лепечет вконец потрясенная Кристина, – мне неудобно... нельзя же, чтобы ты столько на меня тратила. И номер этот слишком дорогой, ну в самом деле, мне бы вполне подошла простенькая комната.

Тетя лишь улыбается, не сводя с нее глаз.

– А потом, детка, – заявляет она властно, – сходим к нашей парикмахерше, она тебя мало-мальски причешет. Космы вроде твоих у нас носят только индейцы. Сама увидишь, сразу легче будет держать голову, когда грива перестанет болтаться на затылке. Нет, нет, не спорь, я в этом лучше разбираюсь, положишься на меня и не волнуйся. Времени у нас масса, Энтони сейчас торчит за послеобеденным покером. Вечерком преподнесем тебя ему как с иголочки. Ну, собирайся, детка, пошли.

В большом магазине спортивных товаров коробки одна за другой снуют со стеллажей на прилавки: выбран свитер с рисунком в шашечку, замшевый пояс, подчеркивающий талию, пара крепких рыжеватых ботинок, остро пахнущих свежесделанной кожей, шапочка, пестрые, туго облегающие носки гольф и всякая мелочь; примеривая в кабине обнову, Кристина, словно грязную коросту, сдирает с себя ненавистную кофту и тайком прячет эту привезенную улику нужды в картонную коробку. Удивительное облегчение охватывает ее по мере того, как исчезают в картонке опротивевшие вещи, будто вместе с ними навеки переходит туда же и ее страх. В другом магазине добавляются еще вечерние туфли, легкая шелковая шаль и тому подобные чарующие предметы; с изумлением Кристина наблюдает, словно чудо, никогда не виданный ею способ делать покупки, то есть покупать, не спрашивая о цене, не испытывая постоянного страха перед «слишком дорого». Выбираешь товар, говоришь «да» не задумываясь, не тревожась, и вот пакеты перевязаны, и таинственные рассылные доставят их тебе домой. Не успеваешь выразить желание, как оно уже исполнено: жутко все это, но в то же время упоительно легко и красиво. Кристина отдается во власть чудес, прекратив всякое сопротивление и предоставив тете полную свободу действий; она лишь застенчиво отворачивается, когда тетя вынимает из сумочки банкноты, и старается пропускать мимо ушей, не слышать цены – ведь это так много, так немыслимо много, то, что на нее тратят: за годы она не израсходовала столько, сколько здесь за полчаса. Когда они вышли из магазина, она, уже не сдерживаясь, в порыве благодарности трепетно прижимается к тете и целует ее руку.

⁸ Лавки, магазины (англ.).

Тетя с улыбкой смотрит на ее трогательное смущение.

– Ну, теперь займемся скальпом! Я отведу тебя к парикмахерше, а сама тем временем нанесу визит друзьям, оставлю им карточку. Через час ты будешь как с витрины, и я зайду за тобой. Увидишь, что она из тебя сотворит, ты уже сейчас выглядишь совсем иначе. Потом отправимся гулять, а вечером будем всю развлекаться.

Сердце у Кристины взволнованно стучит, но она послушно (ведь тетя желает ей добра!) входит в комнату, облицованную кафелем и сверкающую зеркалами, здесь теплый сладковатый воздух пахнет цветочным мылом и распыленными эссенциями, а рядом, словно ветер в горном ущелье, завывает какой-то электрический аппарат... Парикмахерша, проворная курносая француженка, выслушивает всевозможные инструкции, в которых Кристина ничего не понимает, да и не пытается понять. Ее захлестнуло ранее неведомое желание безвольно отдаться любым неожиданностям – пусть с ней делают все что хотят. Тетя исчезает, а она, откинувшись в удобном операционном кресле, закрыв глаза, погружается в наркоз блаженства; щелкает машинка, Кристина ощущает ее стальной холодок на затылке, слышит непонятную болтовню бойкой мастерицы, вдыхает слегка дурманящие благовония и охотно подставляет шею и волосы чужим искусным пальцам и струям сладкой эссенции. Только не открывать глаза, думает она. А то вдруг окажется, что все неправда. Только не спрашивать. Только насладиться этим праздничным чувством, разок отдохнуть, не обслуживать других, а самой быть обслуженной. Разок посидеть сложа руки, ожидая удовольствия и вкушая его, ощутить в полной мере то редкое состояние беспомощности, когда о тебе заботятся, ухаживают за тобой, то странное физическое чувство, какого она не испытывала уже годы, нет, десятки лет. Зажмурившись в тепловатом душистом тумане, Кристина вспоминает, когда это случилось с ней в последний раз: детство, она в постели, больна, несколько дней у нее был жар, но сейчас прошел, мать приносит ей белое сладкое миндальное молоко, возле кровати сидят отец и брат, все такие добрые, заботливые, ласковые. Канарейка у окна насвистывает какую-то озорную мелодию, в постели мягко, тепло, в школу ходить не надо, на одеяло ей положили игрушки, но играть лень: лучше блаженствовать, закрыв глаза, и ничего не делать, вволю наслаждаться бездельем и приятным сознанием, что за тобой ухаживают. Двадцать лет она не вспоминала об этом изумительном ощущении расслабленности, пережитом в детстве, и вот теперь вдруг снова его почувствовала – кожей, когда висков коснулось теплое, влажное дуновение. Время от времени шустрая мамзель задает вопросы вроде: «Желаете покороче?» А она отвечает лишь: «Как вам угодно» – и нарочно смотрит мимо поднесенного ей зеркала. Нет, только бы не нарушить это божественное состояние, когда ни за что не отвечаешь, когда тебе не надо совершать какие-то действия и что-то желать и за тебя действуют и желают другие, хотя было бы заманчиво хоть раз, впервые в жизни, кому-то приказать, что-то потребовать, распорядиться о том или ином.

Аромат из граненого флакона растекается по ее волосам, лезвие бритвы нежными прикосновениями чуть щекочет кожу, голове вдруг становится необычайно легко, а затылку как-то непривычно прохладно. Собственно, Кристине уже не терпится взглянуть в зеркало, однако она сдерживается – ведь с закрытыми глазами можно еще продлить этот упоительный полусон. Между тем к ней неслышно подсаживается этакий добрым гномом вторая мастерица и, пока первая колдует над прической, начинает делать маникюр. Кристина, уже почти не удивляясь, послушно поддается и этому и также не препятствует, когда после слов: «*Vous êtes un peu râle, mademoiselle*»⁹ – старательная парикмахерша всевозможными помадами и карандашами подкрашивает ей губы, подрисовывает покруче брови и подрумянивает щеки. Все это она замечает, но в то же время не воспринимает, пребывая в расслабленной самоотрешенности и едва сознавая, происходит ли все это с нею самой или же с каким-то совсем другим, совершенно

⁹ Вы немножко бледны, мадемуазель (*фр.*).

новым «я», происходит не наяву, а в сновидении, – она ощущает замешательство и легкий страх, что эти чары внезапно разрушатся.

Наконец появляется тетя.

– Отлично, – изрекает она со знанием дела.

По ее просьбе заворачивают несколько баночек, карандашей и флаконов, затем она предлагает племяннице немного прогуляться. Поднявшись, Кристина не отваживается взглянуть в зеркало, она ощущает лишь необычную легкость в затылке; и вот теперь, идя по улице и время от времени украдкой посматривая на свою гладкую юбку, на веселые пестрые гольфы, на блестящие элегантные ботинки, она чувствует, как увереннее становится ее походка. Нежно прижавшись к тете, она слушает ее пояснения и удивляется всему вокруг: поразителен ландшафт с яркой зеленью и панорамным строем горных вершин, гостиницы, эти твердыни роскоши, нагло вознесшиеся по склонам, и дорогие магазины с соблазнительными витринами – меха, драгоценности, часы, антиквариат, – все это странно и чужеродно рядом с царственным одиночеством гигантского ледника. Удивительны и лошади в красивой упряжи, собаки, люди, похожие своей яркой одеждой на альпийские цветы. Атмосфера солнечной беззаботности, мир без труда, без нужды, – мир, о каком она и не подозревала. Тетя перечисляет ей названия вершин, отелей, фамилии именитых приезжих, встречающихся по пути; Кристина почтительно внимает, с благоговением взирает на них, и ее собственное присутствие здесь все больше кажется ей чудом. Она удивляется, что может гулять здесь, что это дозволено, и все больше сомневается: неужели это происходит наяву? Наконец тетя бросает взгляд на часы.

– Пора домой. Надо успеть переодеться. До ужина остался всего час. А единственное, что может рассердить Энтони, – это опоздание...

Когда Кристина, вернувшись в гостиницу, открыла дверь номера, то все здесь было уже окрашено мягкими предвечерними тонами, в рано наступивших сумерках предметы выглядели неопределенными и расплывчатыми. Лишь четкий прямоугольник неба за распахнутой балконной дверью еще хранил яркую, густую, ослепительную голубизну, а в помещении все цветные пятна стали блекнуть по краям и смешиваться с бархатистыми тенями. Кристина выходит на балкон, навстречу бескрайнему ландшафту, и замороженно следит за быстро меняющейся игрой красок. Первыми теряют свою сияющую белизну облака и постепенно начинают алеть все больше и больше, словно их, столь надменно безучастных, очень взволновал все ускоряющийся закат светила. Потом, внезапно, из горных круч поднимаются тени, которые днем поодиночке хоронились за деревьями; и вот сейчас они, будто осмелев, соединяются толпами, взмывают черной завесой из впадин ввысь, и в изумленную душу закрадывается тревога: не захлестнет ли эта мгла и сами вершины, опустошив и затмив весь гигантский кругозор, – легким морозцем уже потянуло из долин, и дуновение это усиливается. Но вдруг вершины озаряются каким-то новым светом, более холодным и блеклым, и глядь – в еще не померкшей лазури уже появилась луна. Круглым фонарем она повисла высоко над ложбиной между двумя самыми высокими горами, и все, что лишь минуту назад было живописной картиной с ее многоцветьем, начинает превращаться в силуэтное изображение, в контуры черно-белого рисунка с крохотными, смутно мерцающими звездами.

В полном самозабвении Кристина не сводит замороженного взгляда с этой гигантской сцены, где беспрерывно сменяются декорации. Подобно тому как человек, чей слух привык лишь к нежным звукам скрипки и флейты, чувствует себя почти оглушенным, услышав первые бурное тутти целого оркестра, так и ее чувства затрепетали при виде этого величественного красочного спектакля, неожиданно показанного природой. Вцепившись руками в перила, она смотрит и смотрит, не отрывая глаз. Никогда в жизни она не глядела так пристально на какой-нибудь пейзаж, никогда еще с такой полнотой не отдавалась созерцанию, не погружалась целиком в собственные переживания. Вся ее жизненная сила словно сконцентрирована

лась, как в фокусе, в двух изумленных зрачках и устремилась, позабыв о себе и о времени, навстречу природе. Но, к счастью, в этом доме, где все предусмотрено, существует и страж времени, безжалостный гонг, который трижды в день напоминает постояльцам об их обязанности насладиться роскошью. При первом раскатистом ударе меди Кристина вздрагивает. Ведь тетя строго-настрого велела не опаздывать, скорей-скорей одеться к ужину!

Какое же из новых платьев надеть? Все они такие чудесные, лежат рядышком на кровати и чуть светятся, словно крылья стрекозы; очень соблазнительно блестит в тени темное, но Кристина решает, что скромнее будет – цвета слоновой кости. Она осторожно, с робостью берет его в руки и любуется. Не тяжелее носового платка или перчатки. Быстро стягивает с себя свитер, снимает грузные ботинки, толстые спортивные носки, долой все громоздкое, тяжеловесное, ей не терпится ощутить неизведанную легкость. Как все нежно, как мягко и невесомо. Одно лишь прикосновение к новому дорогому белью вызывает дивное ощущение. Пальцы ее дрожат, она поспешно снимает старое, грубое полотняное белье, и по коже ласковой теплой пеной струится новая мягкая ткань. Кристина невольно протягивает руку к выключателю, чтобы зажечь свет и оглядеть себя, но в последнее мгновение опускает ее: лучше продлить удовольствие еще минутой-другой ожидания. Кто знает, может быть, эта изумительно легкая ткань кажется нежной, как пух, только в темноте, а в ярком, резком освещении ее чары исчезнут? Так, теперь, после белья и чулок, платье. Бережно – ведь оно принадлежит тете – Кристина подставляет себя ниспадающей шелковой волне, прохладной, сверкающей, которая сама стекает по плечам, покорно облекая тело, это платье совершенно неощутимо, оно как ветер, как уста воздуха, нежно скользкие по коже. Но хватит медлить, терять время на предвкушение, быстрее одевайся, и тогда уж полюбуешься собой! Теперь туфли; поправь, пройдишь; слава богу, все! И наконец – даже сердце замерло – остается бросить первый взгляд в зеркало.

Рука поворачивает выключатель, и лампа вспыхивает. С этой вспышкой померкшая было комната опять расцвела, опять появились яркие обои, блестящая мебель и весь новый фешенебельный мир. Кристине и любопытно, и боязно, она еще не решается встать перед зеркалом так вот сразу и лишь сбоку заглядывает в красноречивое стекло, в уголке которого отражается полоска пейзажа за балконом и кусочек комнаты. Для настоящей репетиции пока не хватает мужества. Не будет ли она выглядеть еще смешнее, чем в своем прежнем, тоже одоженном, платье, не бросится ли в глаза и другим, и ей самой скрытый обман? Она медленно, бочком, бочком подступает к зеркалу, как будто скромностью можно перехитрить и одурачить неумолимого судью. Зеркало уже перед ней, но глаза ее по-прежнему опущены, она никак не отваживается на последний решительный взгляд. Тут снизу доносится второй удар гонга: медлить больше нельзя! Внезапно решившись, она делает глубокий вздох, как перед прыжком в воду, затем поднимает глаза. И, подняв, вздрагивает в испуге, она действительно так пугается неожиданного зрелища, что невольно отступает на шаг. Да кто же это? Кто эта стройная элегантная дама, которая, чуть изогнувшись назад, полуоткрыв рот и распахнув глаза, смотрит на нее с неподдельным изумлением? Неужели это она сама? Быть не может! Она не произносит этого вслух, но именно эти слова непроизвольно хотели слететь с ее губ. И удивительно: там, в зеркале, губы шевельнулись.

У Кристины дух захватило. Никогда еще, даже в мечтах, она не представляла себя такой прекрасной, такой юной, такой нарядной; ведь у нее теперь совсем другие губы – красные, четко очерченные, другие брови – тонкие, изогнутые, шея, которая вдруг открылась свету под взметнувшейся золотой шапкой волос, и кожа в блестящем обрамлении платья совсем другая. Все ближе и ближе подступает Кристина, чтобы опознать себя в этой картинке, и хотя понимает, что в зеркале она, тем не менее не осмеливается признать это другое «я» настоящим и прочным, ее не оставляет страх, что стоит ей приблизиться еще на дюйм, сделать резкое движение, как блаженное видение растает. Нет, не может быть, думает она. Нельзя измениться до такой степени. Ведь если бы так было на самом деле, значит, тогда «я»... Она не решается

мысленно договорить. Но тут изображение в зеркале начинает улыбаться, отгадывая это слово, чуть заметная вначале улыбка становится шире, шире. Вот уже из холодного стекла совершенно открыто и гордо смеются глаза и мягкие красные губы, кажется, весело признаются: «Да, я красивая».

До чего же это увлекательно – вот так смотреть на себя, удивляться, что-то в себе открывать, любоваться собой, разглядывать с неведомым донныне чувством восхищения свое тело, впервые замечать, как вольно дышащая грудь упруго и красиво колыхается под шелком, какие стройные и в то же время мягкие линии обретают формы в красках, как легко и свободно выступают обнаженные плечи в этом платье. Интересно, а как выглядит новое стройное тело в движении? Она медленно-медленно поворачивается боком, не спуская глаз с зеркала: и снова ее взгляд встречается с гордым, довольным взглядом отраженного двойника. Это придает ей смелости. Теперь быстро три шага назад: что ж, в движении все тоже красиво. Теперь можно отважиться и на пируэт; она кружится волчком, разлетаются короткие юбки, и зеркало снова улыбается: «Отлично! Какая ты стройная, ловкая!» Больше всего ей хочется сейчас танцевать, в каждом суставе звенит музыка.

Поспешно отойдя в глубину комнаты, она шагает навстречу зеркалу, и оно улыбается, улыбается ее глазами; собственное отражение со всех сторон испытывает, искушает ее, льстит ей, и чувство восхищения собой никак не насытится этим новым обольстительным «я» в красивом одеянии, юным, преображенным, которое с неизменной улыбкой выходит ей навстречу из зеркальной глубины. Ей очень хочется обнять это существо, новую себя; Кристина прижимается лбом к стеклу, зрачки в зрачки: живые – в отраженные, вот-вот горячие губы коснутся в поцелуе холодного стекла, и ее «сестра» расплывется в затуманившемся от дыхания зеркале. Продолжая чудесную игру в открытия, она делает новые движения, принимает новые позы, чтобы увидеть себя в новых преображениях. Тут снизу доносится третий удар гонга. Кристина вздрагивает: господи, ведь я заставляю тетю ждать, она уже наверняка сердится. Быстренько пальто – вечернее, легкое, пестрое, опушенное дорогим мехом. Затем, прежде чем выключить свет, жадный прощальный взгляд в щедрое зеркало – последний, самый последний. Снова сияют отраженные глаза, снова полно блаженства отраженное лицо! «Отлично, отлично», – улыбается ей зеркало. Чуть ли не бегом она устремляется по коридору к номеру тети, шелковое платье приятно обвеивает ее прохладой. Она летит, как на волне, словно подхваченная счастливым ветром; с детских лет она не ощущала себя такой легкой, такой окрыленной: хмель преображения начал действовать.

– Превосходно, сидит как влитое, – говорит тетя. – Да, что значит молодость, колдовства почти не требуется! Когда платье должно скрывать, вместо того чтобы показывать, только тогда портному приходится трудно. Нет, кроме шуток: сидит как влитое, тебя прямо не узнать, вот сейчас и видно, какая у тебя хорошая фигура. Только постарайся держать голову выше, легче, а то ты всегда – уж не обижайся на меня – ходишь как-то неуверенно, согнувшись, жмешься, словно кошка под дождем. Тебе надо учиться ходить по-американски: легко, свободно, лбом вперед, как корабль против ветра. Господи, мне бы твои годы!

Кристина покраснела. Значит, она в самом деле не выглядит смешно, не похожа на деревенщину.

Тетя продолжает осмотр, ее придирчивый взгляд одобрительно скользит по всей фигуре.

– Замечательно! Только вот сюда, на шею, надо какое-нибудь украшение. – Она порылась в шкапулке. – На, надень этот жемчуг! Да не бойся, глупышка, он не настоящий. Настоящий остался там, в сейфе... зачем брать его в Европу для ваших карманников?

Знобко и чуждо жемчужины скользнули по обнаженной шее. Тетя отступает на шаг и, окинув взглядом «модель», заключает:

– Великолепно. Тебе идет все. Наряжать тебя должно быть для мужчины сплошным удовольствием. Ладно, пошли! Заставлять Энтони ждать больше нельзя. Ну и разинет он рот!

Они вместе спускаются по лестнице. У Кристины странное ощущение: ей кажется, что в новом платье она выглядит обнаженной, и что она не идет, а парит – так ей легко, и что ступеньки будто сами, одна за другой, быстро всплывают ей навстречу. На второй лестничной площадке они сталкиваются с пожилым господином в смокинге, его гладкие седые волосы разделены кинжальным пробором. Почтительно поздоровавшись, он останавливается, чтобы пропустить дам, и во время этой мимолетной встречи Кристина чувствует на себе какой-то необычный взгляд, в котором и мужское восхищение, и чуть ли не благоговение. Ее щеки запылали: впервые в жизни с ней здоровается знатный человек, да еще с таким уважением и признанием ее достоинства.

– Генерал Элкинс; ты, наверное, слышала это имя в войну, председатель Географического общества в Лондоне, – поясняет тетя. – Знаменитый человек, в мирное время путешествовал по Тибету, сделал там большие открытия, я познакомлю тебя с ним, это высший класс, принят при дворе.

Кристина радостно вспыхивает. Такой благородный человек, объездивший полмира, и сразу увидел в ней не безбилетную зрительницу, переодевшуюся знатной дамой и достойную презрения, нет, он поклонился ей как аристократке, как женщине своего круга. Только теперь она почувствовала себя равноправной.

И тут же новое подтверждение. Не успевают они подойти к столу, как дядя с изумлением восклицает:

– О, вот это сюрприз! Нет, это же надо, как ты принарядилась! Чертовски здорово, о, пардон, я хотел сказать: ты замечательно выглядишь.

Снова Кристину пронизывает теплая дрожь, и она, покраснев от удовольствия, пробует отшутиться:

– Дядя, ты, я вижу, собираешься одарить меня и комплиментами?

– Еще как! – смеется тот и неожиданно для самого себя приосанивается. Сморщенная на груди рубашка расправляется, дядюшкиной флегматичности как не бывало, его глазки с красноватыми веками, утонувшие в жирных щеках, загораются любопытством, в них даже чуть ли не мелькают искорки желания. Он испытывает явное удовольствие при виде внезапно похорошевшей девушки и становится необычно оживленным и разговорчивым, рассыпаясь в восторженных комплиментах ее внешности и показывая себя знатоком предмета, он проявляет несколько повышенный интерес к деталям, так что тетя вынуждена прервать его.

– Не кружи девчонке голову, – смеется она, – молодые сделают это лучше тебя и тактичнее.

Тем временем приблизились официанты; словно причетники у алтаря, они почтительно стоят возле стола в ожидании знака. Странно, почему я их так боялась днем, думает Кристина, это же скромные, вежливые и удивительно тихие люди, которым, кажется, только и надо, чтобы их совсем не замечали. Теперь она ест не стесняясь, робость пропала, после долгой дороги голод дает о себе знать. Немыслимо вкусны маленькие пирожки с трюфелями, и жаркое, окруженное грядками овощей, и пенистый мусс, и нежное желе, которые всякий раз заботливо подают ей на тарелку серебряной лопаточкой; ей не надо ни о чем беспокоиться, ни о чем думать, и, собственно, она уже ничему не удивляется. Здесь вообще все удивительно, и самое удивительное, что она вправе здесь находиться, здесь, в этом сверкающем зале, где полно народу и все же нет шума, где такие нарядные и, наверное, очень знатные люди, она, которая... нет, нет, не думать об этом, не думать, забыть, пока она здесь... Но больше всего ей по вкусу вино. Должно быть, его делают из золотистых, благословленных южным солнцем ягод в дальних, счастливых и добрых странах; янтарем светится оно в тонком хрустальном бокале и каким нежным, прохладно-скользящим шариком должно перекатываться во рту? В раздумье Кристина сначала отваживается на робкий глоток, но дядя, воодушевленный радостным

видом племянницы, провозглашает новые и новые приветственные тосты, и она, поддавшись соблазну, осушает бокал за бокалом.

И независимо от ее воли и сознания язычок ее начал болтать. Тут же, словно пенистая струя шампанского из откупоренной бутылки, брызнул легкий, игривый смех; она сама поражена, как беззаботно и весело то заливается смехом, то болтает, в ней будто разжались тиски страха, сжимавшие сердце. Да и к чему здесь страх? Ведь они такие добрые, тетя с дядей, и эти нарядные, элегантные люди вокруг все такие учтивые, хорошие; какой чудесный мир, как прекрасна жизнь!

Дядя с бодрым видом привольно восседает напротив; развеселившаяся племянница чертовски забавляет его... Эх, вернуть бы молодые годы, мечтает он, и обнять такую вот задорную бесовку, да покрепче. Он чувствует себя в приподнятом настроении, освеженным, воодушевленным, чуть ли не удалым молодцем; обыкновенно флегматичный и ворчливый, он, тряхнув стариной, вспоминает всевозможные шутки и смешные истории, порой даже пикантные; ему инстинктивно хочется разжечь огонь, возле которого так приятно погреть старые кости. Он, как кот, урчит от удовольствия, в пиджаке жарко, лицо подозрительно покраснелось, он вдруг сделался похожим на Бобового короля на картине Йорданса, с пунцовыми от наслаждения и вина щеками. Снова и снова он пьет за племянницу и уже собирается заказать шампанское, но тут смеющийся страж, тетя, останавливает его руку и напоминает о предписании врача.

Тем временем в соседнем зале поднялся ритмичный шум: зазвенела, загудела, забарабанила и заквакала, словно взбесившиеся органные мехи, танцевальная музыка. Мистер Энтони, положив свой бразильский «початок» в пепельницу, подмигивает:

– Ну? По глазам вижу – плясать хочется.

– Только с тобой, дядя! – задорно отвечает плутовка (господи, уж не захмелела ли я?). И опять хохочет; в горле у нее застряла какая-то смешинка, которая при каждом слове побуждает заливаться веселой звонкой трелью.

– Не зарекайся! – ворчит дядя. – Здесь есть чертовски крепкие ребята, такие, что трое, вместе взятые, моложе меня и танцуют в семь раз лучше, чем я, старая перечница. Ну ладно, на твою ответственность: если не робеешь, давай пошли.

Со старомодной галантностью он предлагает ей руку, Кристина берет кавалера под локоть и, хохоча, болтая, изгибаясь от смеха, шествует рядом; за ними, подтрунивая, следует тетя, музыка гремит, зал полон света и красок, люди вокруг смотрят приветливо, с любопытством, официанты спешно отодвигают какой-то столик, все здесь мило, весело, радушно, и не надо особой смелости, чтобы кинуться в пестрый водоворот. Дядя Энтони в самом деле не мастер танцевать, под жилетом при каждом шаге колышется солидное брюшко, и ведет партнершу седовласый дородный господин нерешительно и неуклюже. Вместо него зато ведет музыка – дробная, с резкими синкопами, зажигательная, вихревая, сатанинская музыка. Каждый удар тарелок пробирает до костей, но зато как чудесно размягчают суставы тут же вступающие скрипки; у четко отбиваемого ритма мертвая хватка, он встряхивает, разминает, топчет и порабощает. Чертовски хорошо играют они, да и сами напоминают бесов, эти смуглые аргентинцы в коричневых с золотыми пуговицами курточках – ливрейные бесы, посаженные на цепь, и все вместе, и каждый: вот тот, худой, сверкающий очками, так усердно хлощет, икает и булькает на своем саксофоне, будто хочет насосаться из него допьяна, а курчавый толстяк левее, пожалуй, еще фанатичнее рубит, словно наобум, по клавишам с хорошо отрепетированным восторгом, в то время как его сосед, оскалив рот до ушей, с непостижимой свирепостью избивает литавру, тарелки и что-то еще. Они, как ужаленные, беспрестанно ерзают и дергаются на табуретках, будто их трясет электрическим током, с обезьяньими ужимками и нарочитой яростью они истязают свои инструменты. Однако адская громохальная работает, как точнейшая машина; это утрированное подражание неграм: жесты, ухмылки, визги, ухватки, хлесткие выкрики и шутки – все до мельчайших деталей разучено по нотам и отрепетировано перед зер-

калом, наигранная ярость исполнена безупречно. Кажется, длинноногие, узкобедрые, бледно-напудренные женщины тоже понимают это, так как их явно не возбуждает и не захватывает эта притворная пылкость, повторяющаяся ежевечерне. С накрепко приклеенной улыбкой и беспокойными красными коготками, они непринужденно чувствуют себя в руках партнеров; равнодушно глядя прямо перед собой, они, кажется, думают о чем-то ином, а возможно, и ни о чем. И лишь она одна, посторонняя, новенькая, изумленная, вынуждена сдерживаться, чтобы не выдать своего возбуждения, гасить свой взгляд, ибо кровь все больше и больше волнуется от коварно щекочущей, дерзко захватывающей, цинично страстной музыки. И когда взвинченный ритм резко обрывается, сменившись оглушительной тишиной, Кристина облегченно вздыхает, словно избежала опасности.

Дядя тяжело отдувается, наконец-то можно вытереть пот со лба и отдышаться. Гордый собой, он торжественно ведет Кристину обратно к столику, где их ждет сюрприз: тетя заказала для обоих охлажденный на льду шербет. Еще минуту назад у Кристины мелькнула мысль – не желание, а только мысль: хорошо бы сейчас глотнуть чего-нибудь холодного, смочить горло и остудить кровь; и вот – она не успела даже попросить об этом, как им уже подали запотевшие серебряные чашки; сказочный мир, где любое желание исполняется прежде, чем его выскажешь; ну как тут не быть счастливой!

Она с наслаждением всасывает жгуче-холодный, нежно-пряный шербет, словно впитывает в себя через тонкую соломинку все соки и всю сладость жизни. Сердце ее бьется радостными толчками, руки жаждут кого-нибудь приласкать, глаза невольно блуждают вокруг, стремясь поделиться хоть частичкой горячей благодарности, переполняющей душу. Тут ее взгляд падает на дядю; добрый старик сидит, откинувшись, на мягком стуле, он все еще не пришел в себя, никак не отдышится, то и дело вытирает платком бисеринки пота. Он так отчаянно старался доставить ей радость, старался, пожалуй, свыше своих сил; Кристина признательно и ласково – она просто не может иначе – поглаживает его тяжелую, твердую, морщинистую руку, лежащую на спинке стула. Дядя сразу же улыбается и опять принимает бодрый вид. Ему понятно, что означает этот порывистый жест молодого, робкого, только начавшего пробуждаться существа; с отеческим добродушием он испытывает удовольствие, видя ее благодарный взгляд. Но все-таки несправедливо не поблагодарить также тетю, а не его одного, ведь именно тете, ее ласковому покровительству, Кристина обязана всем: и тем, что она здесь, и шикарными нарядами, и блаженным чувством уверенности в этой роскошной дурманящей среде. И Кристина, взяв за руки обоих, сияющими глазами смотрит в сверкающий зал, как ребенок у рождественской елки.

Но вот снова звучит музыка, теперь она глуше, нежнее, мягче, словно тянется шлейф из черного блестящего шелка, – танго. Дядя делает беспомощное лицо, он вынужден извиниться, но его шестидесятисемилетние ноги не выдержат этого извивающегося танца.

– Ну что вы, дядя, мне в тысячу раз приятнее посидеть с вами, – говорит она совершенно искренне, продолжая ласково держать руки обоих.

Ей так хорошо в этом тесном кругу родных сердец, под защитой которых она чувствует себя в полной безопасности. Но тут она замечает, что, затенив стол, ей кто-то кланяется: высокий, широкоплечий блондин, гладко выбритое, загорелое, мужественное лицо над белоснежной кольчугой смокинга. Щелкнув на прусский манер каблуками, он учтиво обращается на чистейшем северогерманском к тете за позволением.

– Охотно разрешаю, – улыбается тетя, гордая столь быстрым успехом своей протеже.

Смутившись, Кристина с легкой дрожью в коленях поднимается. То, что из множества красивых нарядных женщин этот элегантный незнакомец выбрал ее, застало ее врасплох, словно внезапный удар молоточка по сердцу. Она глубоко вздыхает и кладет дрожащую руку на плечо знатного господина. С первого же шага она чувствует, как легко и вместе с тем властно ведет ее этот безупречный партнер. Надо лишь податливо уступать едва ощутимому нажиму,

и ее тело гибко вторит его движениям, надо лишь послушно отдаваться знойному, манящему ритму, и нога сама, словно по волшебству, делает правильный шаг. Так она никогда не танцевала, и ей самой удивительно, как это у нее легко получается. Будто ее тело вдруг сделалось каким-то другим под этим другим платьем, будто она научилась этим льнущим движениям в каком-то забытом сне, – с такой совершенной легкостью подчиняется она чужой воле. Упоительная уверенность внезапно овладевает ею; голова запрокинута, словно опирается на невидимую воздушную подушку, глаза полужакрыты, груди нежно колышутся под шелком; полностью отрешенная, не принадлежащая более самой себе, Кристина с изумлением чувствует, будто у нее появились крылья и она порхает по залу. Время от времени, когда она, отвлекшись от этого ощущения невесомости и как бы вынырнув из подхватившей ее волны, поднимает взгляд к близкому чужому лицу, ей кажется, что в его суровых зрачках мелькает довольная одобрительная улыбка, и тогда ее пальцы еще доверчивеежимают чужую руку. Где-то в глубине ее существа зашевелилась смутная, почти сладострастная тревога: что, если этот незнакомец с высокомерным, жестким лицом внезапно рванет ее к себе и заключит в объятия, будет ли она в силах оказать сопротивление? А может, уступит и прильнет покорно, как вот сейчас – в танце? И независимо от ее воли это полусознательное сладостное ощущение расслабляюще растекается по рукам и ногам. Кое-кто из сидящих вокруг уже обращает внимание на эту идеальную пару, и Кристину снова охватывает восторженное чувство – ведь на нее устремлены восхищенные взгляды. Все увереннее и гибче танцует она, чутко внимая воле партнера. Их дыхание и движения сливаются воедино, она впервые испытывает чисто физическое удовольствие оттого, что так ловко владеет своим телом.

После танца партнер – он представился инженером из Гладбаха – учтиво провожает ее к столику. Едва он отпускает ее руку, тепло недолгого прикосновения улетучивается, и Кристина почему-то сразу чувствует себя слабее и неувереннее, словно разомкнувшийся контакт отключил приток новой силы, наполнявшей ее до этого. Так и не разобравшись в своих ощущениях, она садится и смотрит на радостного дядю с чуть усталой, но счастливой улыбкой; в первые мгновения она даже не замечает, что за столиком появился третий человек: генерал Элкинс. Вот он встает и почтительно кланяется ей. Он, собственно, пришел, чтобы просить тетю представить его этой *charming girl*¹⁰. Генерал стоит перед ней подтянутый, серьезный, склонив голову, словно перед знатной дамой, – Кристина, оробев, пытается овладеть собой. Господи, ну о чем говорить с таким жутко важным и знаменитым человеком, чье фото, как рассказывала тетя, было во всех газетах и которого даже показывали в кино? Однако генерал Элкинс сам выручает ее, извиняясь за свое слабое знание немецкого языка. Правда, он учился в Гейдельберге, но, как ему ни грустно признаться в подобных цифрах, это было более сорока лет назад, и пусть уж такая замечательная танцовка проявит к нему снисхождение, если он позволит себе пригласить ее на следующий танец, – в бедре у него торчит осколок снаряда, еще с Ипра, – но, в конце концов, в этом мире можно ладить, только будучи снисходительным.

От смущения Кристина утратила дар речи, лишь через некоторое время, когда начала медленно и осторожно танцевать, она сама удивилась тому, как непринужденно вдруг завязала разговор. Что это со мной, взволнованно думает она, я это или не я? Почему вдруг все получается так легко, свободно, а раньше – еще учитель танцев говорил – была неуклюжая, точно деревянная, но теперь же скорее я его веду, чем он меня. Да и разговор идет сам собой; может, я не такая уж дура, ведь как любезно он меня слушает, а человек-то знаменитый. Неужели я так переменилась оттого, что на мне другое платье, что здесь другая обстановка, или все это уже во мне сидело, только я вела себя чересчур боязливо, робко? Мать всегда мне об этом говорила. А может, ничуть и не трудно быть такой, может, и жизнь гораздо легче, чем я думала,

¹⁰ Очаровательной девушке (англ.).

надо лишь набраться смелости, ощущать только себя, и ничего другого, тогда и силы придут, словно с неба.

После танца генерал Элкинс степенным шагом прохаживается с ней по залу. Кристина гордо шествует, опираясь на его руку, уверенно глядя перед собой и ощущая, что и осанка у нее становится величественной, и сама она делается моложе и красивее. Кристина откровенно признается генералу, что она здесь впервые и совсем еще не видела Энгадина, Малои, Зильс-Марии; кажется, это признание не разочаровывает генерала, а скорее радует: не согласится ли она в таком случае поехать с ним завтра утром в Малою – на его автомобиле?

– О, с удовольствием! – выдыхает она, оробев от неожиданного счастья и внимания, и благодарно, чуть ли не по-приятельски – откуда вдруг взялась смелость? – пожимает знатному господину руку. Кристина чувствует, что больше и больше осваивается в этом зале, который еще утром казался ей таким враждебным, все просто наперебой стараются доставить ей радость; она также замечает, что временно собравшиеся здесь люди ведут себя как на дружеской встрече, полной взаимного доверия, чего она не видела там, в своем узком мирке, где каждый завидует маслу на чужом куске хлеба или кольцу на руке. С восторгом она сообщает дяде и тете о любезном приглашении генерала, однако на разговоры ей времени не дают. Через весь зал к ней спешит тот инженер-немец и снова зовет танцевать; он знакомит ее затем с каким-то врачом-французом, дядя – со своим приятелем-американцем; ей представляют еще нескольких лиц, фамилий которых она от волнения не разобрала: за десять лет она не видела вокруг себя столько элегантных, вежливых, доброжелательных людей, сколько за эти два часа. Ее зовут танцевать, предлагают сигареты и ликер, приглашают на вылазки в горы и поездки по окрестностям, каждому, видимо, не терпится познакомиться с ней, и каждый очаровывает ее своей любезностью, которая здесь, судя по всему, сама собой разумеется.

– Ты произвела фурор, детка, – шепчет ей тетя, гордясь суматохой, которую вызвала ее протее, и лишь с трудом подавленный зевот дяди напоминает обоим, что пожилой человек уже утомился. Он, правда, бодрится, отрицая явные признаки усталости, но в конце концов уступает.

– Да, нам лучше, пожалуй, как следует отдохнуть. Не все сразу, понемножку. Завтра тоже будет день, и *we will make a good job of it*¹¹.

Кристина оглядывает напоследок волшебный зал, освещенный канделябрами со свечобразными лампами, дрожащий от музыки и движений; она чувствует себя обновленной и освеженной, как после купания, и каждая жилка в ней радостно пульсирует. Она берет усталого дядю под локоть и вдруг, повинувшись неожиданному порыву, наклоняется и целует морщинистую руку.

И вот она у себя в комнате, одна, взбудораженная, смущенная и сбита с толку внезапно обступившей ее тишиной: сейчас только она ощутила, как горит кожа под платьем. Закрытое помещение слишком тесно для нее, разгоряченной и возбужденной. Толчок, дверь на балкон распахивается, и хлынувшая волна снежной прохлады остужает обнаженные плечи. Дыхание успокаивается, становится ровным. Кристина выходит на балкон и блаженно замирает, теплый живой комочек перед неимоверной пустотой простора, брэнное сердце, маленькое, затерянное, бьется под гигантским ночным небосводом. Здесь тоже тишина, но неизмеримо более могучая, первозданная, нежели та, что в рукотворных четырех стенах, она не подавляет, а несет покой и умиротворение. Еще недавно алевшие горы безмолвно скрываются в собственной тени, будто притаившиеся огромные черные кошки с фосфоресцирующими снежными глазами, и совершенно недвижим воздух в опаловом свете почти полной луны. Смятой желтой жемчужиной плывет она среди алмазной россыпи звезд, в ее бледном холодном свете лишь смутно проступают под вуалью облаков очертания долины. Никогда еще Кристина не видела

¹¹ Мы придумаем что-нибудь занятное (*англ.*).

ничего столь могущественного, исподволь захватывающего до глубины души, как этот замерший в безмолвии пейзаж; все ее возбуждение незаметно уходит в эту бездонную тишину, и Кристина страстно вслушивается, вслушивается и вслушивается в нее, чтобы полностью в ней раствориться. Как вдруг, словно откуда-то из вселенной, в застывший воздух влетает бронзовый метеор – внизу в долине раздается гулкий удар церковных часов, а скалистые кручи слева и справа, очнувшись, бросают звенящий мяч обратно. Кристина испуганно вздрагивает. Еще раз по туманному морю прокатывается бронзовый звон, еще и еще. Затаив дыхание, она считает удары: девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Полночь! Неужели? Только полночь? Стало быть, всего двенадцать часов, как она сюда приехала, робкая, смущенная, растерянная, жалкое и убогое существо, неужели только один день, да нет – полдня? И вот сейчас, после всего, что ее изумило и потрясло, она впервые задумывается о том, из какой же непостижимо тонкой и гибкой материи соткана наша душа, если уже одно-единственное переживание может расширить ее до бесконечности и она способна объять в своем крохотном пространстве целое мироздание.

Даже сон в этом новом мире какой-то другой – непробудный, одуряющий, как наркоз, не сон, а полное забытие. Утром Кристина долго не может очнуться, никогда еще ее сознание не погружалось в такие недра забытия, и она вытаскивает его оттуда медленно, с трудом, частицу за частицей. Прежде всего – неясное чувство времени. Сквозь закрытые веки брезжит свет: значит, в комнате светло, уже день. И мгновенно за неясное ощущение времени цепляется страх (он не покидает ее и во сне): только бы не проспать! Только бы не опоздать на работу! В подсознании автоматически разматывается ставшая привычной за десять лет цепочка мыслей: сейчас затрещит будильник... только бы опять не заснуть... надо вставать, вставать, вставать... быстро, к восьми на работу, надо еще затопить плиту, сварить кофе, сходить за молоком, за булочками, прибраться, сменить матери повязку, что-то приготовить на обед, что еще?.. Что-то еще надо сегодня сделать?.. Да, заплатить лавочнице, она вчера напоминала... Только бы не заснуть, сразу встать, как зазвенит... Но что же он сегодня... почему так долго молчит?.. может, испортился или забыла завести... почему не трезвонит, ведь уже светло... Господи, неужели проспала, сколько же сейчас: семь, восемь или девять?.. Может, люди уже собрались у почты и ругаются, как в тот раз, когда мне нездоровилось, хотели в дирекцию жаловаться... а ведь теперь столько служащих сокращают... Не дай бог проспать... Въевшийся за многие годы страх опоздать на службу, словно крот, подрывает подземелье сознания и так мучительно терзает его, что последняя тонкая оболочка сна рвется и Кристина открывает глаза.

Ее взгляд испуганно блуждает по потолку: где, где это я?.. Что... что случилось со мной?.. Вместо привычной, закоптелой, паутинно-серой мансардной крыши с коричневыми балками над ней белоснежный потолок, мягко обрамленный золоченым багетом. И откуда вдруг столько света в комнате? Будто за ночь прорубили еще одно окно. Где я? Где? Кристина переводит растерянный взгляд на свои руки. Но они лежат не как обычно, на старом, заштопанном коричневом одеяле из верблюжьей шерсти, одеяло вдруг тоже стало новым – легким, пушистым, синим, с вышитыми красноватыми цветами. Нет – первое движение: это не моя кровать! Нет – второе движение, Кристина приподнялась: это не моя комната, и – третье, резкое движение, полностью осмысленный взгляд, и она вспомнила все: отпуск, свобода, Швейцария, тетя, дядя, роскошный отель! Ни страха, ни обязанностей, ни службы, ни будильника, ни времени! Никакой плиты, никого не надо бояться, никто не ждет, никто не торопит: жестокие жернова, которые десять лет перемалывают ее жизнь, впервые остановились. Здесь можно (какая чудесная, мягкая, теплая постель!) еще полежать, не спеша на встречу с дневным светом, ожидающим за складчатыми гардинами, наслаждаясь покоем души и тела. Можно беззаботно снова закрыть глаза, помечтать, лениво потянуться, принадлежать по праву самой себе. Можно даже (она вспомнила, что говорила тетя) нажать на эту вот кнопку у изголовья, под которой изображен крохотный, будто на почтовой марке, официант; надо всего лишь протянуть руку, и –

о чудо! – через две минуты в номер постучат, дверь откроется, и почтительно войдет официант, катя перед собой забавную коляску на резиновых колесиках (Кристина любовалась такой же у тети), и предложит – на выбор – кофе, чай или шоколад в красивой посуде и с белыми камчатными салфетками. Завтрак появляется сам по себе, не надо молоть кофейные зерна, разжигать огонь в плите, ежась от холода в шлепанцах на босу ногу, нет, все доставляется готовым – с белыми булочками, золотистым медом и другими яствами вроде вчерашних, все, как на сказочной скатерти-самобранке, подано к постели, не надо никаких хлопот и стараний. Или можно нажать на другую кнопку, где на латунной табличке изображена горничная в белой наkolке; тихо постучав, она впорхнет в комнату, в черном платье и ослепительном переднике, и спросит, что угодно сударыне: открыть ли ставни, отдернуть или задернуть гардины, приготовить ли ванну? Сто тысяч желаний можно иметь в этом волшебном мире, и все они будут исполнены в мгновение ока. Здесь все можно захотеть и сделать, но тем не менее хотеть и делать отнюдь не обязательно. Можно позвонить или не позвонить, можно вставать или не вставать, можно снова заснуть или просто лежать с открытыми или закрытыми глазами, отдавшись потоку ленивых, добрых мыслей. Или можно вообще не думать, просто блаженствовать, ощущая, что время принадлежит тебе, а не ты – времени. Ты не крутишься в мчащемся колесе часов и секунд, а скользишь вдоль времени, как в лодке по течению, убрав весла. И Кристина лежит, мечтая и наслаждаясь новым ощущением, и в ушах у нее приятный шум, будто далекий звон воскресных колоколов.

Нет – она энергично поднимается с подушек, – предаваться мечтам здесь некогда! Нельзя расточать это бесподобное время, где каждое мгновение одаряет тебя неожиданным удовольствием. Мечтать можно будет потом, дома, месяцы и годы ночи напролет на дряхлой, скрипучей деревянной кровати с жестким матрасом и за испачканным чернилами казенным столом, пока крестьяне в поле, а над головой неумолимо, вечно тикают стенные часы, словно по комнате педантично вышагивает постовой: там лучше грезить, чем бодрствовать; спать здесь, в этом божественном мире, – расточительство. Последнее усилие – и Кристина соскакивает с постели; пригоршня холодной воды на лоб, на шею – и она сразу взбодрилась; теперь быстро одеться – ах, какое же мягкое это белье, как оно шелестит! Ее кожа со вчерашнего дня уже забыла это новое ощущение, и вот она опять наслаждается ласкающим прикосновением нежной материи. Но не стоит долго задерживаться из-за этих маленьких радостей, хватит медлить, быстрее, быстрее, прочь из комнаты, куда-нибудь, чтобы вволю размяться, надышаться, насмотреться, всем существом, всеми порами, каждой клеточкой еще сильнее почувствовать, как ты счастлива, свободна, что это жизнь, настоящая жизнь! Она торопливо натягивает свитер, нахлобучивает шапку и опрометью сбегает по лестнице.

Коридоры отеля еще сумеречны и пустынно в этот холодный утренний час, лишь внизу, в холле, служители, сняв куртки, чистят пылесосами ковровые дорожки; ночной портье сначала угрюмо и с удивлением оглядывает слишком раннюю гостью, потом сонным жестом приподнимает фуражку. Бедняга, значит, и тут нелегкая служба, канительная работа за гроши, и тут надо вставать и приходить вовремя!.. Ах, незачем об этом думать, какое мне дело, ни о ком сейчас не хочу знать, хочу быть только наедине с самой собой, только с собой, вперед, на воздух! По ее векам, губам и щекам словно кто-то провел ледышкой, прогнав остатки сна. Черт возьми, ну и холодина здесь в горах, до костей пробирает, пожилее надо шагать, разогреться, прямо по дороге, куда-нибудь она приведет, все равно куда, ведь здесь все ново и чудесно.

Стремительно шагая, Кристина только теперь замечает неожиданное утреннее безлюдье. Толпа, наводнявшая вчера в полдень все дорожки, сейчас, в шесть утра, кажется, еще упакована в огромных каменных коробках отелей, даже ландшафт, смежив веки, скован каким-то хмурым магнетическим сном. В воздухе ни звука, угасла такая золотистая вчера луна, исчезли звезды, померкли краски; окутанные туманом скалистые кручи бледны и тусклы, как холодный металл. Только у самых вершин встревоженно толпятся густые облака; какая-то невиди-

мая сила то растягивает их, то теребит, порой от плотной массы отделяется белое облако и большим комком ваты всплывает в прозрачную высь. И чем выше оно поднимается, тем сочнее окрашивает загадочный свет его зыбкие контуры, выделяя золотую кромку: приближается солнце, оно уже где-то за вершинами, его еще не видно, но в беспокойном дыхании атмосферы уже ощущается его живительное тепло. Итак, навстречу, ему навстречу. Может, прямо вот по этой извилистой дорожке, посыпанной гравием, как в саду, подъем здесь, кажется, нетрудный; и в самом деле, идти можно, шагается легко; не привыкшая к такой ходьбе Кристина с радостным изумлением ощущает, как послушно пружинят ноги в коленях, как дорожка с плавными поворотами и легчайший воздух словно сами несут ее в гору. До чего же быстро от такого штурма разогреваешься. Она срывает с себя перчатки, свитер, шапку: хочется не только губами и легкими, но и кожей впитывать обжигающую свежесть. Чем быстрее она идет, тем увереннее и свободнее становится шаг. Однако не пора ли передохнуть – сердце гулко колотится в груди, в висках стучит, – и, остановившись, она секунду-другую с восторгом смотрит вниз: леса стряхивают туман со своих прядей, дороги белыми лентами рассекают пышную зелень, блестит кривая, как турецкая сабля, река, а напротив, меж зубцами вершин, наконец-то внезапно прорвался золотой поток утреннего солнца. Великолепно! Кристина в восторге от зрелища, но азарт восхождения, охвативший ее, не терпит перерыва; вперед! – исступленно подгоняет барабан в груди, вперед! – требуют набравшие темп мышцы; и, опьяненная порывом, она карабкается все дальше и дальше, не зная, сколько времени уже прошло, как высоко забралась, куда ведет тропа. Наконец, примерно через час, добравшись до смотровой площадки, где выступ горы закругляется наподобие рампы, она валится навзничь в траву: хватит! Хватит на сегодня. У нее кружится голова, подергиваются и пульсируют веки, жгуче саднит обветренная кожа, но странно: несмотря на все эти болезненные ощущения, несмотря на суматошную встряску, ей хорошо, она испытывает какое-то новое, неведомое удовольствие, как никогда, чувствует себя юной и полной жизни. Она даже не подозревала, что сердце может с такой силой проталкивать кровь по жилам, которые податливо пропускают ее буйно-веселый поток, никогда еще не ощущала так остро легкости и упругости своего тела, как именно в эти минуты, когда им овладела безмерно сладостная хмельная усталость. Открытая горячему солнцу и порывам чистого горного ветра, овевающего ее со всех сторон, погрузив пальцы в студено-душистый альпийский мох, Кристина то созерцает облака в невообразимой лазури, то скользит взглядом по развертывающейся внизу панораме; она лежит словно оглушенная, грезя и бодрствуя одновременно и наслаждаясь необычайным приливом душевных сил и стихийной мощью природы. Она лежит так час или два, пока солнце не начинает обжигать ей губы и щеки. Поднявшись, она поспешно набирает букет из еще скованных холодом веточек и цветов – можжевельник, шалфей, полынь, – между листьями которых шуршат кристаллики льда, и устремляется вниз. Сначала она идет, соблюдая осторожность, размеренным туристским шагом, однако сила инерции при спуске понуждает ноги бежать вприпрыжку, и Кристина отдается этому сладостно-жуткому притяжению глубины. Все резвее, все шаловливее, все отважнее скачет она с камня на камень; будто подхваченная ветром, с развевающимися волосами и раздувающейся юбкой, веселая, уверенная в себе, готовая петь от избытка счастья, она вихрем летит вниз по серпантину.

Перед отелем в назначенный час – девять утра – молодой инженер-немец, одетый по-спортивному для утренней партии в теннис, ждет тренера. Сидеть на сырой скамейке еще холодно, ветер то и дело запускает свои острые ледяные когти под белую полотняную рубашку с открытым воротом; поэтому он энергично шагает взад и вперед, вертя ракеткой, чтобы разогреть руки. Черт возьми, где же тренер, неужели проспал? Инженер нетерпеливо поглядывает по сторонам. Случайно взглянув на горную дорожку, он замечает сверху нечто диковинное, нечто яркое, кружащееся, похожее издали на пестрого жучка, который странными прыжками

несется вниз. Гм, что это? Жаль, нет бинокля. Но оно быстро приближается – яркое, пестрое, окрыленное. Сейчас разглядим. Инженер приставляет ладонь козырьком ко лбу: вниз по горной дорожке кто-то летит сломя голову – кажется, женщина или молодая девушка; размахивает руками, волосы развеваются; поистине, ее будто ветром несет. Черт возьми, как неосторожно... бежать со всех ног по серпантину... сумасшедшая... да, а все-таки здорово это у нее получается, лихо. Инженер невольно делает шаг-другой навстречу, чтобы получше увидеть бегунью. Девушка напоминает богиню утренней зари: развевающиеся волосы и взмахи рук, как у менады, вся – смелость и порыв. Лицо еще нельзя рассмотреть – мешает скорость движения и восходящее солнце за ее спиной. Но ей все равно же не миновать теннисного корта: если она направляется в отель, здесь ее финиш. Она все ближе и ближе, он уже слышит, как разлетаются мелкие камешки из-под ног, слышит ее шаги на последнем повороте, а вот и она сама.

Вбежав на площадку, Кристина резко останавливается, чтобы не налететь на человека, который нарочно встал на пути. От внезапной остановки волосы упали на лицо, юбка облепила ноги. Испуганная, запыхавшаяся, она стоит перед ним почти вплотную. И вдруг разражается смехом. Она узнала своего вчерашнего партнера по танцам.

– Ах, это вы! – облегченно вздыхает она. – Извините, я чуть было вас не спшибла.

Он молчит, глядя с удовольствием, даже с восхищением на девушку с обветренными щеками, вздымающейся от частого дыхания грудью, еще распаленную головокружительным спуском с горы. Отдающий должное спорту, он любит этим воплощением молодости и энергии. Улыбнувшись, он наконец говорит:

– Здорово! Вот это темп! За вами не угонится ни один здешний проводник. Но... – он опять смотрит на нее, пристально, одобряюще, с улыбкой, – если б у меня была такая же юная и стройная шея, я бы постарался как можно дольше не ломать ее; вы обращаетесь с собой чертовски неосторожно! Вам повезло, что это видел я, а не ваша тетя. Но главное, такие экстравагантные утренние прогулки вы не должны совершать в одиночку. Если вам понадобится более или менее опытный провожатый, то нижеподписавшийся предлагает свои услуги.

Он снова пристально смотрит на нее, и она чувствует, что смущается под его неожиданным откровенно мужским взглядом. С таким страстным восхищением на нее не смотрел еще ни один мужчина, этот взгляд проникал до глубины души, оставляя какое-то новое, радостное беспокойство. Чтобы скрыть смущение, она гордо показывает букет:

– Взгляните-ка на мою добычу! Нарвала совсем свежих, ну разве не чудо?

– Да, роскошные цветы, – отвечает он напряженным голосом и смотрит поверх букета ей в глаза.

Она все больше смущается от этого настойчивого, чуть ли не назойливого внимания.

– Простите, мне пора к завтраку, боюсь, я уже опоздала.

Поклонившись, инженер освобождает ей дорогу, но Кристина безошибочным женским инстинктом чувствует, что он смотрит ей вслед; ее тело невольно напрягается, шаг становится легким. Не только крепкий аромат горных цветов и пряный воздух будоражат кровь, но и заставшая ее врасплох встреча: она впервые осознала, что кому-то нравится, что она желанна.

И когда она, еще взволнованная, входит в гостиницу, воздух в холле кажется ей спертым, стены, потолок, одежда вдруг начинают давить на нее. В гардеробе она сбрасывает шапку, свитер, пояс – все, что стесняет, жмет ее, душит, она охотно сорвала бы сейчас с себя всю одежду. Сидящие за столиком пожилые супруги с изумлением взирают на свою племянницу, которая стремительно пересекает зал, щеки у нее пылают, ноздри трепещут, и вся она кажется более высокой, здоровой, ловкой, чем вчера. Она кладет перед тетей букет альпийской флоры, еще влажный от росы, усыпанный пестрыми блестками тающих ледяных кристалликов.

– Вот, нарвала для тебя, лазила на гору... не знаю, как она называется, сходила просто так... Ах, – Кристина глубоко вздыхает, – до чего же это чудесно!

Тетя любит ее.

– Ну чертенок! Сразу из постели в горы, не позавтракав! Вот с кого пример брать, это получше всяких массажей. Энтони, ты только взгляни, ее просто не узнать. От одного воздуха какие щеки стали. Да ты вся пылаешь, дитя мое! Ну говори же, говори, где ты побывала.

И Кристина рассказывает, даже не замечая, как быстро, как жадно и неприлично много она при этом ест. Масленка, блюдечки с медом и джемом опустошаются на глазах; дядя, показывая на хлебницу, подмигивает улыбающемуся кельнеру, чтобы тот добавил вкусных хрустящих булочек. Но Кристина, увлеченная рассказом, совершенно не замечает, что оба посмеиваются над ее аппетитом, она лишь чувствует, как приятно горят щеки. Расслабившись, беззаботно откинувшись на спинку плетеного кресла, она жует, болтает, смеется, добродушные лица внимательных слушателей вдохновляют ее все больше и больше, пока наконец она внезапно не обрывает свой рассказ, широко раскинув руки:

– Ах, тетя, мне кажется, там я впервые узнала, что значит дышать.

За бурным началом следуют и другие события, столь же увлекательные и радостные. В десять часов – она еще сидит за столиком, в хлебнице ни одной булочки: горный аппетит все подчистил – является генерал Элкинс в спортивном костюме строгого покроя и зовет ее на обещанную автопрогулку. Учтиво пропустив даму вперед, он сопровождает ее к своей машине – фешенебельная английская марка, сверкающий лак и никель; да и шофер под стать автомобилю – светлоглазый и тщательно выбритый, ну просто вылитый джентльмен. Генерал усаживает гостью, укутывает ей колени пледом, затем, почтительно сняв шляпу, занимает место рядом. От этих учтивых манер Кристина немного теряется, она чувствует себя обманницей перед генералом с его подчеркнутой, почти смиренной вежливостью. Да кто ж я, думает она, что он со мной так обращается? Господи, если бы он знал, где я обычно торчу, пришпиленная к старому казенному стулу, и где должна заниматься постылой одуряющей работой! Но вот нажата педаль, и нарастающая скорость прогоняет всякие воспоминания. С ребяческой гордостью она замечает, как на узких улицах курорта, где мотор еще вынужден сдерживать свою силу, прохожие любуются роскошной машиной, которая даже здесь выделяется своей маркой, как они почтительно и чуть завистливо поглядывают на нее, Кристину, полагая, что она владелица. Генерал Элкинс показывает ей окрестности и, будучи географом по образованию, невольно увлекается подробностями, как все специалисты, однако девушка слушает так прилежно, так внимательно, что это доставляет ему явное удовольствие. Его несколько холодное, по-английски замкнутое лицо постепенно теплеет, а чуть суровые складки у тонкого губного рта смягчаются доброй улыбкой, когда он слышит ее непринужденные «ах» или «прелесть» и наблюдает, как она вертится, бросая восхищенные взоры направо и налево. Время от времени он с легкой грустью поглядывает сбоку на это оживленное лицо, и его сдержанность отступает перед бурными восторгami юности. Словно по ковру, мягко и бесшумно мчится, убыстряя ход, машина, ни единого хрипа, ни стука не слышится в ее металлической груди при малейшем напряжении на подъеме, гибко и послушно выписывает она самые лихие виражи; ускоренный темп замечаешь лишь по тому, как сильнее и сильнее свистит воздух, и к уверенному ощущению безопасности примешивается упоение скоростью. Все темнее становится долина, все суровее сдвигаются скалы. Наконец показывается просвет, и шофер тормозит.

– Перевал Малоя, – объявляет Элкинс и с неизменной учтивостью помогает ей выйти из машины.

Вид в глубине великолепен; причудливо петляя, дорога низвергается водопадом; чувствуется, горы здесь утомились, им не хватает сил громоздить новые вершины и ледники, и они устремляются вниз, в далекую необозримую долину.

– Там, на равнине, начинается Италия, – показывает Элкинс.

– Италия, – изумляется Кристина, – так близко, неужели так близко?

В ее голосе звучит столько жадного любопытства, что Элкинс невольно спрашивает:

– А вы там не были?

– Нет, никогда!

И это «никогда» сказано с таким жаром и горечью, что в нем слышна вся затаенная тоска о несбыточном: я никогда, никогда ее не увижу. Она тут же спохватывается, что голосом выдала себя, что ее спутник может догадаться о ее сокровенных мыслях, о том, что она бедна, и неловко пытается перевести разговор, смущенно спросив:

– Вы, конечно, знаете Италию, генерал?

– Где меня только не носило! – Он серьезно, чуть грустно улыбается. – Я трижды объехал вокруг света; не забывайте, я – старый человек.

– Ну что вы! – испуганно протестует она. – Как вы можете говорить такое!

Испуг ее до того неподделен, протест до того искренен, что у шестидесятивосьмилетнего генерала неожиданно теплеют щеки. Такой пылкой, такой увлеченной он, вероятно, в другой раз ее не увидит и не услышит. Его голос невольно смягчается:

– У вас молодые глаза, мисс ван Боолен, поэтому вам все видится моложе, чем оно есть на самом деле. Возможно, вы правы. Надеюсь, я действительно еще не так стар и сед, как мои волосы. Чего бы я не отдал, чтобы еще раз увидеть Италию впервые!

Он снова смотрит на спутницу, в его взгляде вдруг проступает какая-то покорная робость, которую пожилые мужчины нередко испытывают перед молодыми девушками, как бы прося снисхождения за то, что сами уже немолоды. Кристина необычайно тронута этим взглядом. Она вдруг вспоминает своего отца, старого, согбенного, вспоминает, как любила иногда ласково погладить его седые волосы и как он, подняв голову, смотрел на нее добрыми благодарными глазами.

На обратном пути лорд Элкинс говорит мало, выглядит задумчивым и немного взволнованным. Когда они подъезжают к отелю, он с неожиданной для него живостью выскакивает из машины, чтобы опередить шофера и помочь выйти спутнице.

– Я очень признателен вам за чудесную прогулку, – говорит он, прежде чем она успевает открыть рот и поблагодарить его, – уже давно не получал такого удовольствия.

За столом Кристина с восторгом рассказывает тете, каким генерал Элкинс был добрым и любезным. Та участливо кивает:

– Хорошо, что ты его немножко рассеяла, он в жизни перенес много горя, жена у него умерла еще в молодости, когда он был с экспедицией в Тибете. Четыре месяца он продолжал писать ей каждый день, так как весть о смерти еще не дошла к нему, и когда вернулся, то нашел кипу своих писем, нераспечатанных. А его единственный сын погиб, немцы сбили его самолет под Суассоном, причем в тот же день, когда самого генерала ранило. Теперь он живет один в своем огромном замке возле Ноттингема. Понятно, что он почти непрерывно путешествует, стремится убежать от воспоминаний. Только не вздумай заговорить с ним о его семье – сразу прослезится.

Кристина с волнением слушает. Ей и в голову не приходило, что в этом блаженном мире тоже существуют беды (судя по собственной жизни, она полагала, что здесь все должны быть счастливы). Ей захотелось подойти сейчас к этому старому человеку, который с таким достоинством несет свое горе, и пожать ему руку. Она невольно смотрит в другой конец зала. Он сидит там, по-солдатски прямо, в полном одиночестве. Случайно взглянув в ее сторону, он встречается с ней глазами и чуть заметно кланяется. Она поражена его одиночеством в этом просторном, сверкающем светом и роскошью зале. В самом деле, она должна заботливо относиться к такому доброму человеку.

Но как мало остается времени, чтобы подумать о каждом в отдельности, оно слишком быстротечно здесь, слишком много неожиданного обрушивается на нее, увлекая веселым вихрем; нет такой минуты, которая не одарила бы ее новой радостью. После обеда тетя с дядей уходят к себе в номер передохнуть, а Кристина располагается на террасе в одном из удобных мягких кресел, чтобы наконец спокойно посидеть и мысленно еще раз насладиться пережитым.

Но едва она, облокотившись, начинает медленно, со сладостной мечтательностью перебирать картины насыщенного дня, как перед ней уже стоит вчерашний партнер по танцам, все примечательный инженер-немец, протягивает ей сильную руку – «Вставайте, вставайте!» – его друзья хотят познакомиться с ней. В нерешительности – она еще побаивается всего нового, однако страх прослыть неучливой перевешивает – Кристина уступает и направляется с ним к столу, за которым сидит оживленная компания молодых людей. К ужасу девушки, инженер представляет ее каждому как фройляйн фон Боолен; фамилия дяди, произнесенная с немецким «фон» вместо голландского «ван», кажется, вызвала у всех особое уважение – Кристина замечает это по тому, как господа почтительно поднимаются, – вероятно, звучание двух этих слов невольно вызывает в их памяти фамилию богатейшего семейства Германии: Крупп фон Боолен.

Кристина чувствует, что краснеет: боже мой, ну что он говорит?! Но у нее не хватает духу поправить его, нельзя же перед этими незнакомыми учтивыми людьми уличить одного из них во лжи и заявить: нет, нет, я не фон Боолен, моя фамилия Хофленер. Так она с нечистой совестью и легкой дрожью в кончиках пальцев допускает непреднамеренный обман. Все эти молодые люди – веселая игривая девушка из Мангейма, врач из Вены, сын директора какого-то французского банка, немного шумный американец и еще несколько человек, фамилии которых она не разобрала, – явно заинтересовались ею: каждый задает ей вопросы, и разговаривают, собственно, только с ней. В первые минуты Кристина смущена. Всякий раз, когда кто-нибудь называет ее «фройляйн фон Боолен», она слегка вздрагивает, как от укола, но постепенно ей передается задор и общительность молодых людей, она рада быстро возникшему доверию и в конце концов втягивается в непринужденную болтовню; ведь все так сердечно относятся к ней, чего же бояться? Потом приходит тетя, радуется, видя, что ее подопечную хорошо приняли, добродушно улыбается, подмигивая племяннице, когда ту величают «фройляйн фон Боолен», и наконец уводит ее на прогулку, пока дядя, как обычно в послеобеденные часы, дуется в покер.

Неужели это действительно та самая улица, что и вчера, или же распахнувшаяся душа видит светлее и радостнее, чем стесненная? Во всяком случае, дорога, которой Кристина уже проходила, но как бы с шорами на глазах, кажется ей совсем новой, вид вокруг ярче и праздничнее, будто горы стали еще выше, малахитовая зелень лугов гуще и сочнее, воздух прозрачнее, чище, а люди красивее, их глаза светлее, приветливее и доверчивее. Все со вчерашнего дня утратило свою необычность, чуть горделиво оглядывает она массивные корпуса отелей, так как знает теперь, что лучший из них тот, в котором живут они, к витринам присматривается уже с некоторым понятием, изящные, надушенные женщины в автомобилях больше не кажутся ей столь неземными, принадлежащими какой-то другой, высшей касте, после того как она сама проехала в роскошной машине. Больше она не ощущает себя чужеродной среди других и смело ступает легким, упругим шагом, невольно подражая беззаботной походке стройных спортсменов.

В кафе-кондитерской они делают привал, и тетя еще раз изумляется аппетиту Кристины. То ли это действие разреженного горного воздуха, то ли бурные эмоции – химическое горение тканей, после которого надо восстановить силы; так или иначе, она шутя уплетает за чашкой какао три-четыре булочки с медом, а потом еще пирожные с кремом и шоколадные конфеты; ей кажется, что она могла бы вот так и дальше, без конца, есть, говорить, смотреть, наслаждаться, будто все-все, по чему она чудовищно изголодалась за долгие-долгие годы, нужно возместить, предаваясь именно этой грубой, плотоядной усадле. Временами она ощущает на себе мужские взгляды, которые скользят по ней приветливо и вопрошающе; она инстинктивно напрягает грудь, кокетливо откидывает голову, ее улыбающиеся губы с любопытством встречают их любопытство: кто вы, кому я нравлюсь, и кто же я сама?

В шесть часов, покончив с новыми покупками (тетя обнаружила, что племяннице не хватает всяких мелочей), они возвращаются в отель. Щедрая дарительница, которую все еще забавляет разительная перемена в состоянии ее подопечной, хлопает ее по руке.

– Вот теперь ты, пожалуй, сможешь избавить меня от одной тяжелой обязанности! Не трусишь?

Кристина смеется. Что здесь может быть тяжелого? Здесь, в этом благословенном мире, где все делается играючи.

– Не воображай, что это так просто! Тебе предстоит войти в логово льва и осторожно вытащить Энтони из-за карточного стола. Предупреждаю: осторожно, а то, когда ему мешают, он, бывает, рычит, и довольно сердито. Но уступать нельзя, врач велел, чтобы он принимал таблетки за час до еды, не позже; в конце концов, резаться в карты с четырех до шести в душевной комнате более чем достаточно. Значит, так: второй этаж, номер сто двенадцатый, это апартаменты мистера Форнемана, винный трест. Постучишь и скажешь Энтони, что пришла по моему поручению, он все поймет. Может, сначала он и поворчит, хотя нет, на тебя не поворчит! Тебя он еще послушает.

Кристина берется за поручение без особого восторга. Если дядя любит играть в карты, почему именно она должна его беспокоить! Но возражать не осмеливается и, подойдя к нужному номеру, тихо стучит. Господа, сидящие за прямоугольным столом с зеленой скатертью, на которой виднеются странные квадраты и цифры, удивленно поднимают глаза: молодые девушки, видно, редко сюда вторгаются. Дядя, поначалу изумившись, смеется во весь рот:

– О, I see¹², тебя подослала Клер! Вот на что она тебя подбивает! Господа, это моя племянница! Жена велела ей сообщить, что пора кончать; предлагаю, – он вынимает часы, – еще ровно десять минут. Ты не возражаешь?

Кристина неуверенно улыбается.

– Ладно, на мой страх и риск, – важно заявляет Энтони, не желая ронять своего авторитета. – Молчи! Садись-ка сюда и принеси мне счастье, что-то не везет сегодня.

Кристина робко присаживается чуть позади него. Она ничего не понимает в том, что здесь происходит. Один из игроков держит в руке какую-то продолговатую штуку – не то лопатку, не то совок, – берет с нее карты и при этом что-то говорит; потом круглые целлулоидные фишки – белые, красные, зеленые, желтые – странствуют по столу туда-сюда, передвигаемые маленькими граблями. В общем, это скучно, думает Кристина, богатые, знатные господа играют на какие-то кругляшки. И все же она испытывает некоторую гордость оттого, что сидит здесь, в широкой тени дяди, рядом с людьми, несомненно, могущественными, это видно по их массивным перстням с бриллиантами, по золотым карандашам, по твердым чертам лица и энергичным движениям, да и по кулакам тоже – чувствуется, как такой кулак может грохнуть по столу, словно молот; Кристина почтительно оглядывает одного за другим, совершенно не обращая внимания на непонятную ей игру, и неожиданный вопрос дяди застает ее врасплох.

– Ну что, взять?

Кристина успела усвоить, что тот, которого называют банкометом, играет один против всех, стало быть, ведет крупную игру. Посоветовать дяде взять? Охотнее всего она бы прошептала: «Нет, ради бога, нет!» – лишь бы не брать на себя ответственность. Но ей стыдно показаться трусихой, и она нерешительно лепечет:

– Да.

– Ладно, – смеется дядя. – Под твою ответственность. Выигрыш пополам.

Снова начинается перебрасывание карт, она ничего не понимает, но ей кажется, что дядя выигрывает. Его движения становятся живее, из горла вылетают какие-то странные булькающие звуки, он выглядит чертовски довольным. Наконец, передав дальше лопатку с картами, он поворачивается к ней:

– Ты поработала отлично. За это справедливо поделимся, вот твоя доля.

¹² Понятно (англ.).

Из своей кучки фишек он отбирает две желтые, три красные и одну белую. Смеясь, Кристина берет их без каких-либо размышлений.

– Еще пять минут, – предупреждает господин, перед которым лежат часы. – Вперед, вперед, без скидок на усталость.

Пять минут проходят быстро, все встают, собирают фишки, обменивают их. Кристина, оставив свои кругляшки на столе, скромно ждет у двери. Дядя у стола окликает ее:

– Ну а твои chips?¹³

Кристина подходит к нему в недоумении.

– Обменяй же их.

Кристина по-прежнему ничего не понимает. Тогда дядя подводит ее к господину, который, бегло взглянув на фишки, говорит: «Двести пятьдесят пять» – и кладет перед ней две стофранковые купюры, одну пятидесятифранковую и тяжелый серебряный талер. Девушка растерянно оглядывает чужие деньги на зеленом столе, потом с удивлением смотрит на дядю.

– Бери же, бери, – чуть ли не сердито говорит он, – ведь это твоя доля! А теперь пошли, не то опоздаем.

Кристина испуганно зажимает в непослушных пальцах купюры и серебряную монету. Она все еще не верит. И, придя к себе в номер, снова и снова разглядывает как с неба свалившиеся радужные прямоугольные бумажки. Двести пятьдесят пять франков – это (она быстро пересчитывает) примерно триста пятьдесят шиллингов; четыре месяца, треть года, ей надо работать, чтобы набралась такая огромная сумма, каждый день торчать в конторе с восьми до двенадцати и с двух до шести, а здесь никакого труда, десять минут – и деньги в кармане. Неужели это правда и справедливо ли? Непостижимо! Но банкноты действительно хрустят в ее руках, они настоящие и принадлежат ей, так сказал дядя, ей, ее новому «я», этому непонятному другому «я». Столько денег сразу в ее распоряжении еще не бывало. Чуть дрожа, со смешанным чувством – и боязно и приятно, – она прячет шуршащие бумажки в чемодан, словно краденые. Ибо совесть ее не может постигнуть того, что эта уйма сомнительных денег, тех самых денег, которые она дома с педантичной бережливостью откладывает по грошам, монетку за монеткой, достается здесь как бы дуновением ветерка. Страх, будто она совершила святотатство, тревожным ознобом пронизывает все ее существо до самых глубин подсознания, что-то в ней мучительно ищет объяснения, но времени на это нет, пора одеваться, выбрать платье, одно из трех роскошных, и снова туда, в зал, опьяняться новыми чувствами, переживаниями, с головой окунуться в жгуче-сладостный поток расточительства.

Бывает, что в фамилии заключена таинственная сила превращения; на первых порах она кажется случайной и не обязывающей, подобно кольцу, надетому на палец, но, прежде чем сознание обнаружит ее магическое действие, она врезается в кожу и срастается с духовной сущностью человека, влияя на его судьбу. Поначалу Кристина отзывается на свою новую фамилию со скрытым озорством («Если б вы знали, кто я! Нет, не узнаете!»). Она носит ее легкомысленно, как маску на карнавале. Но вскоре, забыв о неумышленном обмане, она как бы обманывает самое себя и становится той, за кого ее принимают. Если в первый день она еще испытывала неловкость, прослав не по своей воле богачкой с аристократической фамилией, а на другой день это уже тешило ее самолюбие, то на третий и четвертый все воспринималось как нечто само собой разумеющееся. Когда кто-то спросил, как ее имя, ей показалось, что Кристина (дома ее звали Кристль) не очень созвучно заимствованному титулу, и она не без нахальства ответила: «Кристиана». И вот отныне за всеми столиками, во всем отеле ее называют Кристианой фон Болен: так ее представляют, так с ней здороваются; она привыкла к новому имени и фамилии без сопротивления, как привыкла к светлой просторной комнате с полиро-

¹³ Фишки (англ.).

ванной мебелью, к роскоши и легкой жизни в отеле, к вполне естественному наличию денег и ко всему, сложенному из разнообразных цветков, дурманящему букету соблазнов. Если бы сейчас кто-нибудь вдруг назвал ее «фройляйн Хофленер», она вздрогнула бы как сомнамбула и рухнула с вершины своей иллюзии, настолько она сжилась с новой фамилией и уверовала, что она теперь другая, уже не та, прежняя.

Но разве она действительно не стала другой за эти несколько дней, разве высокогорный воздух не очистил, а разнообразное и обильное питание не обогатило ее кровь новыми, здоровыми клетками? Бесспорно, Кристиана фон Боолен выглядит иначе, она моложе, свежее, чем ее сестра Золушка, почтарка Хофленер, и вряд ли похожа теперь на нее. Бледная, почти пепельного оттенка кожа сделалась под горным солнцем смуглой, посадка головы горделивой, в новых нарядах изменилась и походка, движения стали мягче и женственнее, шаг свободней, вся осанка исполнилась чувства собственного достоинства. Постоянные прогулки на лоне природы поразительно освежили тело, танцы сделали его гибким, и вот открылся источник сил; внезапное пробуждение молодости, когда пылко бьется сердце, вздымается грудь, и в тебе все бродит, бурлит, пенится, и ты беспрестанно стремишься испытать себя, вкушая еще не изведанную, могучую радость жизни. Сидеть на месте, за покойным занятием Кристина уже не может, ей все время хочется куда-то выезжать, резвиться, она вихрем носится по комнатам, всегда чем-то увлеченная, подстегиваемая любопытством, то там, то здесь, то в дверь, то из дверей, то вниз, то наверх, и по лестнице она никогда не ходит шагом, а скачет через две ступеньки, словно боится что-то упустить, куда-то не поспеть. Ее руки все время жаждут к кому-то или к чему-то прикоснуться, так сильна в ней потребность поиграть, приласкать, поблагодарить; порой она даже одергивает себя, чтобы невзначай не вскрикнуть или не расхохотаться. И такая исходит от нее сила молодости, что как бы волнами передается окружающим и любого, кто приблизится к ней, тут же затягивает в круговорот веселья и озорства. Там, где она, всегда смех и шум, там тотчас начинают подзадоривать друг друга, любой разговор сразу оживляется звонкими голосами; едва появляется она, всегда задорная, с шуткой, всегда светящаяся счастьем, то не только дядя с тетей, но и совершенно незнакомые люди благосклонно поглядывают на ее безудержную веселость. В гостиничный холл она влетает словно камень, разбивший окно; позади еще крутится от сильного толчка вращающаяся дверь, маленького боя, который хотел ее придержать, Кристина хлопает по плечу перчаткой, в два приема срывает с себя шапку, стаскивает свитер, все жмет, стесняет ее стремительное движение. Потом беспечно останавливается перед зеркалом, поправляет платье, встряхивает взъерошенной гривой, все готово, и в еще довольно растрепанном виде, с пылающими от ветра щеками направляется к какому-нибудь столику – она уже со всеми перезнакомилась, – чтобы рассказывать. У нее всегда есть о чем рассказать, всегда у нее есть новое приключение, всегда все было замечательно, чудесно, неопишимо, всем она горячо восхищается, и даже самому постороннему слушателю ясно: человек не в силах вынести переполняющее его чувство благодарности, если не поделится им с другими. Она не пройдет мимо собаки, не погладив ее, каждого малыша посадит себе на колени и приласкает, для любой горничной или официанта у нее найдется приветливое слово. Если кто-нибудь сидит хмурый или безучастный, она тут же растормошит его добродушной шуткой, она любит каждый платок, с восхищением разглядывает всякое кольцо, фотоаппарат и портсигар, смеется над любой остротой, все блюда находит превосходными, каждого человека – хорошим, какую угодно беседу – занимательной: все, все без исключения великолепно в этом высшем, в этом бесподобном свете. Никто не может устоять перед ее страстными порывами доброжелательства, каждый, общаясь с ней, невольно попадает в излучаемое ею силовое поле добра; даже у ворчливой старой советницы, вечно спящей в кресле с подлокотниками, теплеют глаза, когда она наводит на Кристину лорнет; портье здоровается с ней особенно любезно, накрахмаленные официанты предупредительно пододвигают ей стул, и, между прочим, пожилым, более строгим людям нравится столь сильное проявление радостной и впечатлительной натуры. Кто-то,

конечно, покачивает головой по поводу ее наивных и экзальтированных выходок, но в целом Кристина встречает благожелательное отношение, и по прошествии трех-четырех дней все – от лорда Элкинса до последнего мальчика-лифтера – выносят единодушный приговор, что фройляйн фон Боолен милейшее, обворожительное создание, *charming girl*. Всеобщую симпатию к себе она воспринимает как утверждение своего права быть и находиться здесь, среди этих людей, и чувствует себя от этого еще счастливее.

Личный интерес к ней и склонность к ухаживанию проявляет наиболее откровенно человек, от которого она менее всего смела ожидать такого поклонения, – генерал Элкинс. С нежной и трогательной неуверенностью мужчины, давно перешагнувшего критический полувек, он по-стариковски робко все время ищет удобного случая побыть возле нее. Даже тетя замечает, что тон его костюмов стал светлее, моложе, а галстуки ярче, она полагает также (а может, и ошибается?), что седина на его висках, очевидно искусственным способом, исчезла. Под разными предлогами он часто подходит к их столику, ежедневно присылает обеим дамам в номер – чтобы не привлекать лишнего внимания – цветы, приносит Кристине книги на немецком, специально для нее купленные, главным образом о восхождении на Маттерхорн, потому лишь, что она как-то в разговоре спросила, кто первым покорил эту вершину, и об экспедиции Свена Гедина в Тибет. Однажды утром, когда из-за внезапного дождя отменились все прогулки, он уселся с Кристиной в углу холла и начал показывать ей фотографии своего дома, парка, собак. Причудливый высокий замок, пожалуй, еще норманнских времен. По стенам круглых боевых башен вьется плющ, внутри просторные залы с атлантами и старомодными каминами, семейные портреты в рамах, модели кораблей. Наверное, жить там зимой, одному, тоскливо, подумала она, и, словно угадав ее мысли, он говорит, показывая на снимок своры охотничьих псов:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.